

ЖАК ШЕССЕ

Исповедь пастора Бюрга



im WERDEN VERLAG
DALLAS AUGSBURG 2003

Жак Шессе
Исповедь пастора Бюрга
Перевод с французского

Jacques Chessex
La Confession du Pasteur Burg

The book may not be copied in whole or in part.
Commercial use of the book is strictly prohibited.
The book should be removed from server immediately upon © request.

©Christian Bourgois Editeur, 1967

©«Текст», 2002

©Н. Хотинская, перевод, 2002

©«Im Werden Verlag», 2003

<http://www.imwerden.de>

info@imwerden.de

OCR, SpellCheck & Design by Anatoly Eydelzon books@tumana.net
Generated by L^AT_EX 2_ε

Поскольку душе нашей и телу предназначены бессмертие в Царстве Божьем и нетленный венец славы Его, нам надо радеть о сохранении и того и другого чистыми и незапятнанными вплоть до дня Господня.

Кальвин

I

Меня зовут Жан Бюрг, мне тридцать семь лет.

Я единственный сын скромной четы, и родители с детства окружили меня безмерной любовью и заботой. Мой отец был мелким служащим в Департаменте внутренних дел, мать вела домашнее хозяйство. Я рос хилым и изнеженным, и не будет преувеличением сказать, что только я был средоточием всех их помыслов. Они дрожали надо мной. С детьми моего возраста я почти не общался. В школе мой до срока созревший ум слишком рано отделил меня от сверстников, а хрупкое здоровье не позволяло мне участвовать в их играх. Я их не презирал и не завидовал им. Просто мне было хорошо только в замкнутом мире моих родителей, где со мной были мои книги, мои тетради и неизменная заботливая нежность – мое прибежище от панибратских тычков в классе.

И потом, когда я вырос, друзей у меня не было. Мои ровесники, собираясь в студенческих обществах, громогласно предназначали себя медицине, армии или юриспруденции; их веселые пирушки были мне отвратительны. Я сторонился их. Но главное – еще подростком неодолимое призвание захватило меня: на уроках катехизиса я был поражен суровой силой нашей веры. Вскоре я прочел Кальвина, Священные Книги; непреклонность их заветов меня потрясла. Я был протестантом, истовым и одержимым. В это же время открылись мне людские пороки, и я дивился, что не нашлось еще силы, способной одолеть их. Под влиянием книг и лицемерия себе подобных, исполненный веры, звавшей меня к действию, я немного времени спустя, всего за одно утро, как бывает, когда следуешь своей истинной натуре, принял решение стать пастором. Моя мать упала на колени и возблагодарила Небо, осенившее благодатью нашу маленькую семью.

На богословском факультете я учился блестяще; моя незаурядная память и работоспособность поражали преподавателей. Они рекомендовали меня кантональному совету; неудивительно, что после посвящения в сан мне доверили приход, слывший одним из самых трудных: люди в тех местах известны своей скупостью, неуживчивостью и верностью образу мыслей, более близкому Реформе, чем в любой другой части нашей страны. Недоверие, которое не преминут выказать мне прихожане, только подогрело мой пыл; полный решимости как можно скорее проявить себя перед теми, кто возложил на меня эту нелегкую миссию, я поспешил на встречу со своей первой паствой.

То была ужасная пора; еще и сегодня я не могу вспоминать о ней без стыда и ярости, столь же жгучих, как и в те дни, когда я тщетно пытался пробить стену, которую воздвигли передо мной с первого же часа. Даже потом, когда между нами воцарились добрые отношения и мне стали доверять, и теперь, когда я оказался вовлеченным в эту историю, признаюсь, что долго еще не стихали во мне боль от поражения тех дней и гнев, душивший меня в первые месяцы, что я провел там.

Мои проповеди сочли чересчур суровыми. Они вызвали недовольство. В них, должно быть, со времен моих студенческих работ, сохранились некоторая напыщенность и высокомерный тон, столь часто свойственные протестантским богословам. Приученный трудами Кальвина атаковать в лоб, я избрал темой грех скупости и с неистовым пылом бичевал жадность местных крестьян. Я представил его причиной самых постыдных помыслов, самых гнусных страстей. Так далеко завлекла меня риторика, что я не побоялся в праведном гневном призыве Небо на свою сторону и живописал нависшую над поселком угрозу, не замечая недовольных лиц и глухого ропота в ответ на мои первые проповеди.

Эти эксцессы можно было бы считать просто смешными, если бы я смог на этом остановиться, если бы своим чрезмерным рвением я не восстановил против себя подавляющее большинство прихожан, и те не замедлили взбунтоваться против власти, которую я вознамерился им навязать. Дело в том, что после скупости и корыстолюбия я решил заклеить ложь и лжецов, что, разумеется, было принято в штыки здешними горцами, которые только и делали, что вели тяжбы либо ожесточенные торги за свои земли, дома и леса с тех пор, как в конце войны спекулянты, почуяв богатые туристические возможности этого края, стали скупать участки и перепродавать их под отели и горнолыжные базы.

Я мутил воду: меня возненавидели. Надо еще сказать, что прежний пастор, дряхлый ма-разматик, последние десять лет мечтал только о том, чтобы удалиться на покой в свое шале.

При старом дурне прихожане не привыкли к ежовым рукавицам. Я расплачивался сполна за его снисходительность, за его умиротворяющие проповеди. О нем сожалели, многие при мне вслух желали его возвращения, дошли даже до того, что уговаривали его преподать мне урок. Он согласился, хотя и не сразу. Мы встретились. Встреча была не из приятных.

Этот демарш представил старика в невыгодном свете, что его явно беспокоило; вконец ошалевший оттого, что его выманили из тихого пристанища, он явился ко мне однажды днем, дабы объяснить, чем удивляет – нет, вернее сказать, возмущает добрых людей мое поведение. Он сидел передо мной, не сводя с меня круглых, испуганных, неуверенных глаз, и не знал, как выложить мне советы, которые вертелись в его голове, должно быть, не один день. Я молчал, только смотрел на него, твердо решив не протягивать ему руку помощи; я злился, мне было стыдно за него, за то, что он, как и я, пастор, за трясину страха, в которой барахтался бедняга. Он решился наконец и, набравшись духу, заговорил торопливо, словно удивляясь собственной смелости и спеша закончить свою миссию, пока страх не лишил его снова дара речи. Я понял, какому давлению подвергался этот человек все годы, пока был здесь пастором, мне стало жаль его, и я проклял тупую силу, хитрое упрямство крестьян, которые сумели сделать его своим холуем и надеялись, что этот номер пройдет и со мной.

Даже забавно было смотреть на этого маленького кругленького старичка, когда он грозно тыкал в меня указующим перстом, заикаясь от возмущения. Вдруг он умолк и пожелал узнать, что я могу ответить на обвинения. Я по-прежнему молчал, и тогда его прорвало. Я, стало быть, объявил войну честным горцам? Я считаю себя умнее их? Что ж, посмотрим. Не я первый, много было таких молокососов, которые хотели заставить свою паству ходить по струнке. Но неисповедимы пути Господни, и тот, кто, начиная поприще, не допускал снисхождения, может со временем лишиться всего. Наконец и его терпению наступил предел. Он не в силах спокойно смотреть, как его верных прихожан, его возлюбленных чад унижает первый встречный. Мне следует изменить свое поведение или покинуть деревню и попроситься в другой приход, где, быть может, смирятся с моими замашками.

Эта тирада привела меня в бешенство, однако я нашел в себе силы не выказать его. Все время, пока длилась обвинительная речь, я сдерживал себя; когда старик выдохся, еще несколько долгих минут мы сидели неподвижно в молчании, которое становилось все тяжелее, подвергая моего гостя в сильнейшее смятение. Его глаза из-под покрасневших век неотрывно смотрели на меня, вялый рот нервно подергивался, руки судорожно сжимали подлокотники кресла. Я молчал, стараясь сохранять ледяное спокойствие, давая ему понять, что злобные слова неспособны ни в коей мере поколебать мою решимость. Я смотрел в его испуганные глаза, смотрел на его поникшие плечи; теперь, сказав все, он как будто обессилел. Я чувствовал его нескрываемое беспокойство – молчание было для него бесконечно мучительно, равно как и собственный наряд, больше подходящий для прогулки в горах, нежели для столь важного визита, – ибо бедняга облачился в удобный поношенный костюм из толстого желтого сукна,

чья затрапезность подчеркивала его простодушный вид. Я же, усмехаясь про себя, порадовался, что всегда ношу черное: благодаря моему платью я выглядел в эту минуту истинным представителем Церкви и достойнейшим ее служителем. И в то же время мне почему-то хотелось представить себе старика на костре контрреформации, или под пытками, или просто заброшенным жестокой прихотью судьбы в ночь святого Варфоломея. Да, признаюсь, мне доставляло живейшее удовольствие воображать, как это боязливое лицо превращается под ударами топора в кровавое месиво, как это круглое брюшко лижут языки пламени, как эту жалкую плоть терзают щипцы инквизиции. Хорошего же эмиссара они выбрали, те люди, что хотели заставить меня склониться перед ними, как заставили этого шута горохового! Бешенство мое сменилось желанием рассмеяться, хохотать долго и громко, и мне стоило немалых усилий не поддаться охватившему меня веселью.

Старик между тем поднялся. По-прежнему не говоря ни слова, я проводил его до двери; на пороге он вдруг замешкался: видно, не смел выйти на улицу с сознанием провала своей миссии. Отеческим жестом он взял меня за руку и потряс ее даже с какой-то теплотой, подбадривая этим себя: «Вы пастор, я тоже, – сказал он мне. – Давайте попробуем помочь друг другу. Мне бы не хотелось, чтобы мой визит оставил у вас неприятный осадок. Простите меня, если я был излишне жестким. . . »

Жестким! Еще долго после его ухода я думал о слабодушии жалкого старика и твердо решил, что не изменю своего отношения к прихожанам. Более того, я набросал к следующему воскресенью проповедь еще более суровую, чем все предыдущие: пусть все увидят, что я готов дать бой на том самом поле, на котором они меня теснили. Безумная затея. В воскресенье я всей кожей, как ледяной ветер, ощущал поднимающуюся к моей кафедре злобу. Замкнутые лица, полные бешенства взгляды. . . Чтобы продемонстрировать им решимость, я вернулся к первой своей теме и посвятил проповедь словам Кальвина: «Следует покончить со скупостью, то есть с нашей жадной обогаченностью». Добрых полчаса я с кафедры гневно обличал скупцов. Озлобление достигло предела.

Кто-то, быть может, удивится моей наивности – неужто я так верил в действенность короткой проповеди? – а иные сочтут, что я был чересчур самонадеян, думая, будто паству целого прихода – тем более здешних пройдох и искушенных торгашей – могут ранить, как тяжкое оскорбление, речи совсем молодого пастора. Но рассуждать так значило бы недооценивать преданность этих крестьян церкви, их крепкую и боязливую веру. Здесь, в горах, не строят насмешек над Богом. Его чтут. Его страшатся. При всех излишествах, которым предаются эти люди, при всей их дерзости они с опаской относятся к наслаждениям плоти. А слишком быстро нажитые состояния вызывают неодобрительные и завистливые взгляды. При всех сегодняшних компромиссах несколько веков протестантизма не могли не заронить в их души зерно угрызений совести.

Мне эти угрызения были на руку. Никто не смел открыто выступить против меня, коль скоро проповеди мои взывали – все более и более настойчиво – к обостренному чувству дурного и грешного, что живет подспудно в сердце каждого протестанта. Я хулил – передо мной склонили головы. Я угрожал – передо мной отступили. Я вовсе не пытаюсь кичиться этим или записывать это себе в заслугу. Мне слишком хорошо известно, что моими устами говорили века покаяния, голоса всех пасторов, клеймивших плоть, наживу, гордыню. И каждое воскресенье во время проповеди я думал об этих страшных людях в черном, чье слово и жест ложились гнетом на поколения безропотных прихожан.

И должен еще признаться, что в мыслях о них, об этих мрачных воинах, более чем в мыслях о Небе, черпал я мужество в минуты слабости, когда мне случалось почувствовать себя беззащитным перед лицом враждебной мне деревни или просто наваливалась усталость,

лишая меня на время возможности продолжать борьбу. Я создал в воображении целую галерею лиц и мог в любую минуту увидеть сияние их глаз, когда меня одолевала грусть. Но чаще всего мысль моя устремлялась к Кальвину: с тех пор как я заступил в этот приход, не было дня, когда бы я не чувствовал потребности думать о нем, представлять себе, что сделал бы он на моем месте, читать его и черпать вдохновение в непреклонности его трудов.

То был странный дуэт. Каждая моя мысль, каждое слово носили отпечаток «Наставления в христианской вере»; я размышлял над ним в своем одиночестве, чтобы полнее проникнуться учением его автора. Кальвин терзал мою душу. Только он был судьей моих поступков, моих речей, моих проповедей; я почти готов был приписать себе дневниковые записи, содержавшие как бы точный отчет о моем служении и моей преданности делу.

Теперь легче понять, почему я испытал такой гнев по отношению к моему предшественнику: благодушие делало его в моих глазах существом недостойным должности, которую он занимал двадцать пять лет. Я не мог простить ему снисходительности. Он покорился – в моих глазах это было предательством, заслуживавшим самой суровой кары.

Те, кто прочтут эту исповедь, наверняка удивятся тому, как мало проявлял я милосердия к ближнему. Они станут, наверно, говорить о прощении, об отпущении грехов, они укорят меня за фанатизм. . . Но я хотел служить. Сражаться. И победить. Я признал тщету существования, не оправданного высокой целью, требующей больших жертв. Я принимал как неизбежность каждое дарованное мне мгновение. Я был бы удивлен, если бы кто-то упрекнул меня в недостатке милосердия. Я отдавал свою жизнь. И меня мало волновали детали, а уж менее всего – тревоги какого-то олуха, давшего сигнал к отступлению войску, в котором я служил.

II

Некоторое время спустя произошло еще кое-что, куда более серьезное, чем сцена, устроенная моим предшественником; дело приняло такой оборот, что я понял наконец всю меру двуличия моих прихожан. Несколько недель прошло с визита старика, и мне казалось, будто я выиграл. Храм по воскресеньям был всегда полон; около десяти девушек и юношей приходили ко мне на уроки катехизиса, и враждебная молва не долетала больше до моих ушей. Напротив, лица светлели при моем появлении, мне кланялись, когда я заходил в лавку, у хозяина всегда находилось несколько приветливых слов, и, хотя с детства трудно схожусь с людьми, мне стало казаться, что лед тает.

Эта неожиданная любезность там, где пару недель назад меня встречали лишь хмурые и недовольные лица, этот слишком скорый мир должны были бы насторожить меня; мне следовало держаться начеку, я же утратил бдительность. Со мной не вели больше открытой войны – и я уже вообразил, что победа близка. Как же я недооценивал хитрую и непоколебимую натуру этих людей, их гордыню, не приемлющую власти, если она исходит от горожанина, «чужака», как с ноткой презрения говорят здесь, в горах.

Однажды утром в мою дверь позволили два элегантно одетых господина. Назвавшись представителями Синодального совета, они попросили меня уделить им несколько минут. Несмотря на их внешнюю учтивость, неприятное предчувствие, должен признаться, закралось в мою душу, и стоило немалых усилий, провожая их в гостиную, ничем не выдать, что меня испугал их визит. Напомню, что Синодальный совет осуществляет исполнительную власть нашей церкви. В Синод, находящийся в Л., входят пасторы и другие видные лица, политики, адвокаты, преподаватели; все они люди строгие, имеющие вес, и коллегия эта – одна из самых влиятельных в стране. Ей предоставлены угрожающе широкие полномочия, в частности осуществление тайного надзора за приходами и священнослужителями, а ее связи с кантональным советом дают пищу слухам, в которых с весьма неприятным упорством присутствуют слова «отстранение» и «перевод в административном порядке».

Советники некоторое время смотрели на меня, ничего не говоря, как будто ждали, пока воцарится тишина, чтобы в ней отчетливее прозвучало их сообщение. Затем один из них взял слово. Прихожане подали на меня жалобу в Синодальный совет. Мои проповеди оскорбительны, я тяжко уязвил самолюбие всей общины. Тем самым я нарушил атмосферу доброго согласия, созданную здесь моим предшественником, и надолго подорвал отношения между Церковью и местными властями. Ко мне направили старика – я не счел нужным прислушаться, к глубокому прискорбию Синода, равно как и моих прихожан. После того как их жалоба была зарегистрирована, члены совета присутствовали на нескольких моих проповедях. Они смогли убедиться лично, что я перехожу все границы, о чем немедля уведомили своих коллег.

Эта речь сильно меня встревожила. Нет, она ни на миг не поколебала избранную мной линию поведения, зато пролила свет на прискорбное непонимание Синода и глупость его шпионов. Мои проповеди слушали. В них усмотрели крайности – этот приговор лишал меня всякой официальной поддержки. Меня предупреждали, что мне надлежит вернуться в строй, смирить свой нрав, иначе совет будет вынужден вызвать меня в Л. или потребовать расследования моих «нарушений» в административном порядке.

Но это было еще не все: чиновники приберегли для меня напоследок сюрприз. Я узнал, что моя уединенная жизнь, моя суровость, мои поздние прогулки вдалеке от деревни навели

моих прихожан на подозрения: не симптомы ли это неврастения? Болезнь, разумеется, весьма опасная для человека моего положения. . .

Так вот оно, затишье, ясные взгляды и добрые слова после нескрываемой враждебности! Я был сражен. Не только тем, что так глупо попался, поверив дешевой комедии, – этим подозрением хитрецы полностью обезоружили меня. Случится мне отныне повесить голос? Приступ буйства у больного, у припадочного. Случится вспылить? Возмутиться очередной низостью? В этом тотчас усмотрят доказательства моего безумия – безумия тем более пагубного, что оно долго оставалось скрытым: теперь демоны вырвались на свободу, грозя нарушить спокойствие мирного прихода. . .

Этот удар сокрушил меня, и на несколько дней я пал духом. Я готов был сдаться. Потом обратился к примеру моего учителя; это всегда давало мне силы. Наконец мне удалось выбраться из этого болота. Я не мог продолжать войну в открытую – значит, придется носить маску тихони столь долго, сколько потребуется, чтобы ввести в заблуждение противника и заставить поверить, будто его победа привела меня на путь смирения.

О, если бы кто-то мог читать в моей душе – как бы он был поражен в эти месяцы контрастом между моими сокровенными помыслами и поведением! Я выказывал растущую преданность приходу. Я разыгрывал благодарность прихожанам. Мне удалось шепнуть на ушко нескольким влиятельным лицам, как признателен я тем, кто образумил меня. Эта политика не замедлила принести плоды. Мало знакомые с подобной манерой изъясняться, судьи мои не усмотрели притворства в смиренных речах. Сознать себя спасителями было им лестно; довольные чистосердечным раскаянием, они прониклись ко мне теплотой и лично донесли до Синода весть о том, что они называли моим обращением. Вскоре я получил официальное письмо. Мое новое поведение удостоилось всяческих похвал. Кантональный совет был удовлетворен благополучным разрешением конфликта. Оставалось лишь успокоить его на предмет моего здоровья, Я заставил себя чаще бывать на людях, дольше задерживался в лавчонках и магазинах, ходил время от времени в единственный в поселке кинотеатр и даже брался за грабли или вилы, если, гуляя, забредал на поле, где спешно убирали хлеб перед грозой. Я был улыбчив, услужлив, приветлив. Я умел быть в меру строгим, когда это требовалось, однако на похоронах показывал себя столь же отменно – так говорили теперь обо мне, – сколь и на свадьбах и крестинах: я держался скромно и ликовал, убеждаясь, что моя тактика увенчалась полным успехом. С виду я был молодым пастором, знавшим свое место и понявшим, как просты его обязанности. Но душа моя была крепка, как стальной клинок; вся эта комедия только закаляла ее, и не проходило дня, чтобы я не призывал себя к терпению; чем дольше придется выжидать, тем ужаснее будет тот час, когда я, уверенный в своей правоте, неожиданно обрушу на них с кафедры всю силу моего гнева. Я думал об это неотступно. Я готовился. Каждую улыбку, каждый учтивый поклон я рассматривал как подготовку ради пущего блеска будущей мести. Эти мысли доставляли мне чистую и незамутненную радость. Ибо еще глубже, чем прежде, укоренилась во мне вера в то, что я служу великому делу.

Более того – само мое ежечасное притворство подтверждало, что я достоин избранного служения. Я был миссионером в чужой земле, я припоминал сотни примеров тому, как терпение и притворство утверждали в конечном итоге Правосудие и Веру там, где вначале приходилось склонять голову и носить личину.

Я убедился также, что новая тактика помогла мне разоблачить всевозможные низости и подлости, которые при прежней моей непримиримости стыдливо укрылись бы в тень. Я сдался? Значит, можно больше не бояться меня. Я оказался не столь прозорлив и не столь силен, как полагали – и моего присутствия перестали стесняться. Я узнал о гнусных сделках, услышал клевету; мне открылись пороки, тайные связи – я притворялся, будто даже не замечаю их,

я намеренно закрывал глаза на эти злодеяния, давая понять, что в силу великодушия и благорасположения не вижу всей их мерзости.

Наконец, поскольку местные тузы, очень довольные моим нынешним поведением, наперебой приглашали меня отобедать, я смог во время этих бесконечных трапез, за которыми единственной темой разговоров были поселковые сплетни, как бы между прочим узнать, в чьих руках сосредоточена власть, кто из прихожан вхож в кантональный совет, кто каким путем обрел богатство и могущество. Я копил эти сведения; я вооружался. Что до моей веры, ей все это не наносило ни малейшего урона. Напротив: скрытые под маской, мой пыл, моя преданность служению воспаляли душу до самых сокровенных глубин, и нередко за очередным обедом, улыбаясь тяжеловесным шуткам хозяев или слушая гаммы в исполнении их детишек, я лишь огромным усилием воли удерживался от смеха при мысли о том, как далека моя крепнущая с каждым днем решимость от этой благостной маски, которую обстоятельства пока не позволяли мне сбросить.

Возвращаясь домой, раздраженный всем этим вздором, который приходилось выслушивать, я непременно открывал «Наставление», чтобы почерпнуть в нем силу духа и смыть с себя пошлость прошедшего вечера. Я не молился. К чему было молиться? Каждый мой поступок, говорил я себе, был молитвой, воззванием к Господу; Он слышит меня, и Его слух улавливает в каждом моем вздохе готовность повиноваться. Мне не нужен никто, кроме Бога. Я думаю о Нем неустанно. Молитва оборвала бы эту натянутую нить. Чтение же Кальвина, напротив, побуждало меня к раздумьям о моем предначертании. Итак, я размышлял, читал, осваивал поле битвы и подсчитывал имеющиеся в моем распоряжении силы... Через год или чуть больше такой жизни я окончательно убедился, что приход принял меня. Я завоевал сердца бедняков, богачи искали дружбы со мной; все мало-мальски влиятельные люди в поселке, от доктора до нотариуса, почитали за честь числить меня в приятелях. Синодальный совет был доволен – мне сообщили об этом на сей раз через весьма важного посланца, который провел два дня под моим кровом. Дела обстояли как нельзя лучше, мир был восстановлен, Синод успокоен, и все было готово для решительного боя, который я намеревался дать.

Близились к концу зима. Я решил выждать до весны и перейти в наступление.

Итак, день мести близился; в ожидании весны я подытоживал все, что узнал о приходе за этот год. Я долго думал, какой день более всего достоин грядущей грозы. После нескольких недель размышлений я остановил свой выбор на Вербном воскресенье: на этот праздник к службе стекается больше народу, чем в любой другой день в году; кроме того, в этот день – и для меня это имело особое значение – вся молодежь деревни приходит в храм вместе с катехуменами. Таким образом, у кафедры соберется вся община, и стар и млад. Мои слова будут тем весомее, что войдут одновременно в умы подростков и их родителей; юные услышат назидание старшим; присутствие молодого поколения сделает еще более тяжким, и главное – более долгим испытание, которому я хотел подвергнуть паству. Должен признаться, была минута, когда я понял всю меру несправедливости этого замысла: не следовало вовлекать в подобное испытание незрелых подростков и детей. Однако вскоре я убедил себя в правоте этого плана, единственного, который позволит нанести сокрушительный удар: пусть вместе с родителями расплачиваются и дети.

Страх перед Синодальным советом или перед властями не закрался в мою душу ни на миг. Я стал в достаточной мере хозяином положения, чтобы смотреть в будущее с непоколебимым спокойствием. Теперь, когда Синод высказался во всеуслышание, одобрив мой пыл и мое смирение, он уже не может отречься от меня, не потеряв лица, – а на это, я был уверен, он пошел бы лишь в самом крайнем случае. Я решил тем не менее подстраховаться на случай, если кому-нибудь из членов совета удастся восстановить против меня всю коллегия, и незадолго

до Вербного воскресенья письменно сообщил в Синод о некоторых делишках из тех, что стали мне известны в последние месяцы. Думаю, понятно, что донесение это не было продиктовано боязнью или тревогой (я был чужд и того, и другого), но было лишь чисто политической акцией: мне нужно было развязать себе руки, то есть заручиться поддержкой совета, если я хотел обойтись с приходом по всей строгости и, презрев сопротивление, которое он мне оказывал, обуздать его. Я рассчитывал на эффект неожиданности: изумление и замешательство станут моими самыми надежными союзниками. И этот апрельский день, занявшийся в гордыне, склонится к закату в слезах и раскаянии. Удар будет тем более жестоким, ибо, как мне было известно, во многих семьях – и из самых гнусных – уже резали жирных тельцов, кололи свиней, привозили бочонки вина, готовясь к этому празднику из праздников: уже много лет здесь предавались обжорству и разгулу, вместо того чтобы благоговеть и славить Господа.

Странная это вещь – замысел мести. С тех пор как решение было принято, я не давал себе ни дня передышки, и у меня не возникало и мысли, что я пренебрегаю своим долгом. Я виделся со многими людьми, работал над проповедью к Вербному воскресенью, а между тем не мог вздохнуть, не ощутив железные тиски гнева, сдавившие волю и чувства. Март был на исходе. Продолжая готовить группу катехуменов к конфирмации – этому событию я придавал особое значение, еще и потому, что оно должно было свершиться в то самое воскресенье, когда все будет поставлено на карту, – я решил познакомиться со следующей их группой, желая еще до решающей схватки удостовериться в своей власти над ними.

И вот однажды, вечером в пятницу, я пригласил их всех в свой дом при церкви.

Воспоминание об этой встрече запечатлелось во мне с поразительной четкостью. Около дюжины юношей и девушек сидели в маленькой ризнице; когда я вошел, они встали, и тотчас же мое сердце бешено заколотилось в груди, потому что я заметил среди них Женевьеву Н. Всего за несколько мгновений я изменил свои планы: я повременю сбрасывать маску смирения, в Вербное воскресенье буду вести себя как обычно и еще на долгие месяцы останусь добрым пастырем, сговорчивым и любимым всей паствой. Ибо я замыслил иную месть, куда более жестокую и страшную, чем та, что готовилась мною на этот весенний день: в жертву моему гневу я принесу эту девушку, ею я воспользуюсь, чтобы покарать ее отца и весь поселок. Искупительная жертва. И пример в назидание. При этой мысли кровь застучала у меня в висках, и, как ни призывал я на помощь свою волю, сколько ни обращался за поддержкой к памяти моего учителя, было безмерно трудно вести эту беседу так, как я намеревался; вконец обессиленный, я отпустил молодых людей меньше чем через час.

Женевьева Н. на жертвенном костре... В этом месте я должен сделать отступление и объяснить: почему мне было так необходимо, столь важно наказать приход, погубив во имя жажды мести невинную юную девушку.

Я влюблен в порядок, я люблю его неистово. Я хочу порядка и всегда чувствовал, что Бог избрал меня своим орудием именно в силу моего пристрастия к неукоснительному соблюдению правил, а порой даже казалось – так остро ощущал я жажду порядка и дисциплины, – что Он даровал мне эту склонность лишь для того, чтобы Ему одному были отданы мои помыслы и моя воля.

Должен еще признаться, что я люблю иерархические лестницы, правильные построения, послушные механизмы, симметрию, тщательно разработанную тактику, синтаксические конструкции, шифры, метрику, строгую архитектонику. Торжество Бога видится мне в этих чистых структурах. Я всегда испытывал (испытываю и сейчас) какое-то ревнивое пристрастие к авторитарным режимам, ибо вдохновенная суровость любой диктатуры кажется мне продиктованной неким сводом непререкаемых законов, обладающим неизъяснимо притягательной силой. Государство, управляемое твердой рукой, подобно строгой и прекрасной поэзии. Вот

почему плаха, пытки, костер палача и самые кровавые репрессии всегда представлялись мне законными орудиями власти, как бы ее естественным продолжением. Всю жизнь я тосковал по сильному государству под бдительным оком не ведающего снисхождения Бога; такое служение было бы к месту в Женеве времен моего учителя! Увы, механизм разладился. Рвение наказуемо. Порядок не в чести. Государство опасается чересчур рьяных своих служителей, и многоликий порок под маской умеренности и благодушия наступает на десять заповедей.

Таким образом, я оказался перед необходимостью установить порядок своими силами, ибо не было и речи, куда бы я ни обратил взор, о том, чтобы рассчитывать на какую-либо поддержку Церкви или государства. Но не путал ли я свою блажь – иные даже назовут это одержимостью – со служением делу? Не чересчур ли легко забыл о самом обыкновенном милосердии? Нет, чем больше раздумывал я над этой проблемой, поворачивая ее так и этак перед своей совестью, тем яснее становилась необходимость жертвоприношения. В моем приходе кощунствовали, оскверняли святое – что же, Женевьева Н. будет агнцем, принесенным на алтарь закона.

Теперь мне следует объяснить, почему мой выбор пал именно на это дитя, и думаю, меня поймут, когда я расскажу об Н., ее отце – несомненно, самом богатом и влиятельном, самом чванливом и самом распутном из обитателей поселка. Н. сколотил кругленькое состояние на торговле лесом. Этот ловкий коммерсант без стыда и совести сумел извлечь выгоды из послевоенных лет; он заложил основу несметного богатства, скупая лесные участки, принадлежавшие местным горцам и крестьянам, и продавая древесину в городе по баснословным ценам. Он приобрел лесопилку, а вскоре сфера его деятельности заметно расширилась: Н. брал подряды на строительство, давал деньги в рост, владел несколькими отелями для горнолыжников. Так, покупая и перепродавая, запугиванием, угрозами и тяжбами Н. очень скоро сделался одним из хозяев округа. Точнее сказать, он был его некоронованным владыкой.

Префект трепетал перед ним, муниципальные советники готовы были лизать его сапоги; благодаря своим связям повсюду в стране, в частности в кантональном совете, он был надежно застрахован от любой опасности. Своей империей Н. правил с саркастической надменностью нувориша. Пьяница, чревоугодник и развратник, он, вероятно, давно попал бы под суд, если бы не влиятельные друзья в полиции: не раз выплывали наружу весьма грязные дела, в которых он был замешан. Так, подстрекаемый пьяными дружками Н. изнасиловал жену одного из своих рабочих, после чего соблажники зверски избили ее и бросили полумертвую в гараже; когда ее нашли, она хрипела в агонии. В своем логове, на ферме Бюзар, он устраивал оргии, наводившие страх на окрестных жителей. В такие вечера за высоким забором позади дома стояли длинные американские машины, часто с правительственными номерами; они разъезжались только на рассвете под какофонию пьяных голосов, клаксонов и джазовой музыки, вырывавшейся из распахнутых настезь окон.

Н. никогда не ходил на проповеди. У меня он не бывал тоже и вообще чурался церковных обрядов. Однако еще при моем предшественнике он взял себе за правило улаживать отношения с Небом (а может быть, и успокаивать свою совесть) при помощи крупных пожертвований храму, которые шли на покрытие самых насущных нужд. Так, только благодаря Н. удалось заказать новые колокола, поставить витражи и сменить старую фисгармонию на внушительных размеров орган. Этими подачками он добился молчания, если не одобрения наиболее влиятельных прихожан, а также снискал репутацию покровителя и защитника церкви. Роль эта, очевидно, пришлась ему по душе, потому что не прошло и месяца после моего приезда, как он прислал чек на оскорбительно щедрую сумму. Хотел задобрить? Или решил заставить меня плясать под свою дудку, как заставил того беднягу, на чье место я заступил?

Слухи о бесчинствах Н. к тому времени уже достигли моих ушей. Я отослал чек назад и

со своей тогдашней горячностью новичка заклеил с кафедры грешников, полагающих будто можно подкупить Церковь и за деньги получить прощение творимых ими мерзостей.

Эти слова развязали войну не на жизнь, а на смерть.

Незамедлительно переданные Н., они привели его в неописуемое бешенство. Обезумев от ярости, он изрыгал в мой адрес проклятья и грозил самой страшной мезтью. Он раздавит меня. Он выкинет меня вон из страны. Он мне покажет, кто хозяин в этом кантоне. Тогда я только посмеялся над его угрозами. Теперь мне известно, что Н. первым донес на меня в Синод, именно ему я был обязан присутствием шпионов на моих проповедях и выговором от представителей власти. Да, в тот воскресный день Н. поклялся разделаться со мной, и я удержался в приходе лишь благодаря осторожности, скрытности и твердости духа, которую я черпал изо дня в день в трудах моего учителя.

Вот почему, круто изменив в последний момент свои планы, я решил принести в жертву Женевьеву – решил в тот самый вечер, когда увидел ее в ризнице среди моих новых катехуменов. За тридцать километров в округе это знал каждый: Н. до безумия любил дочь. Он осыпал ее подарками, одевал, как куколку, баловал. Его любовь переросла в настоящую страсть с тех пор, как после смерти жены он поместил Женевьеву в закрытое учебное заведение в Немецкой Швейцарии: Н. видел дочь только во время каникул, когда увозил ее к морю или отправлялся с ней путешествовать, после чего девушка возвращалась в пансион. Но Н. просто не мог жить без дочери. Несколько недель назад он забрал ее домой и поселил на ферме Бюзар в маленьком флигеле – в стороне от главной постройки, чтобы она была по возможности дальше от попок и кутежей, которые продолжались в доме и после ее приезда. По утрам Женевьева занималась делами в конторе лесопильного завода. Пребывание в пансионе задержало ее религиозное воспитание. Ей как раз исполнилось семнадцать, и было решено – несмотря на прилюдные заявления ее отца о глупости пастора, – что она вместе с другими юношами и девушками станет посещать уроки катехизиса.

III

Я увидел ее снова после Пасхи, на первом занятии, в ризнице, где нам предстояло больше года встречаться дважды в неделю. Я был поражен ее красотой, изяществом и серьезным видом, что так не соответствовало шумному нраву и чванливым замашкам ее отца. Она была неразговорчива и редко принимала участие в наших беседах, но по всегда внимательным глазам и немногим ее вопросам я угадал тонкий и не по годам зрелый ум.

Я говорил и все время видел в глубине тесной полутемной комнаты ее длинные светлые волосы, блестящие в последних лучах заходящего солнца. Она записывала что-то. Она слушала вдумчивее и схватывала быстрее, чем остальные. Очень скоро она перестала дичиться. Часто бывало теперь, что после двух часов, проведенных нами вместе, она задерживалась еще на несколько минут и просила меня то-то объяснить или вернуться к интересному моменту нашей беседы. Я поймал себя на том, что ее присутствие заставляет меня быть взыскательнее в моих речах: так, у меня вошло в обычай глубже вникать в вопросы и иллюстрировать примерами мои толкования, всесторонне освещать тот или иной тезис, чье-либо высказывание; я так увлекся, что львиную долю времени посвящал подготовке уроков катехизиса. И тогда мне пришлось признать очевидное: каждую неделю я ждал этих встреч с растущим нетерпением, и, если из Бюзара звонила экономка с сообщением, что мадемуазель Женевьева нездорова и не сможет присутствовать на занятии, я испытывал острое разочарование, и только мысль о том, что она придет на следующий урок, немного утешала меня.

Моего читателя удивит это признание: он-то считал меня аскетом, безраздельно преданным вере! Как, воскликнет он, у вас были глаза, было сердце, ее отсутствие причиняло вам боль? Могу только утверждать, что ни лицо, ни поведение не выдавали моей грусти, когда я не видел Женевьевы, и смятения, в которое повергали меня встречи с ней. На уроках катехизиса я видел ее одну. Но я оставался пастором Бюргом. Я продолжал носить неизменную маску приветливости и, хотя все яснее отдавал себе отчет в своих чувствах, старался ни на миг не забывать о миссии возмездия.

Порядок должен восторжествовать. Пусть даже я навеки погублю себя, погубив эту девушку, но мой долг – покарать Н. через его дочь. Я влюблен, но Женевьева все равно останется жертвой. Я не скрывал от себя ни двусмысленности моего положения, ни опасности, грозившей мне в случае разоблачения. Я любил Женевьеву; все, что я знал о ней, внушало уважение и восторг, однако я был полон решимости сломать ей жизнь, дабы свершилось правосудие. Я восхищался ее хрупкостью, ее свежестью – и хладнокровно готовился втоптать ее в грязь. Эта нестерпимая мысль неотступно преследовала и точила меня, но я знал, что не могу изменить принятому решению.

С другой стороны, было слишком хорошо известно, что меня ждет, если я стану действовать опрометчиво. Женевьева несовершеннолетняя. Я пастор: успех достанется чудовищно дорогой ценой. Предстоит расследование, возможно, долгие месяцы обследований в психиатрической лечебнице, в любом случае – суд присяжных, лишение сана. Представляя себе все это, я лучше осознавал беспощадность Бога, избравшего меня своим орудием. Ибо я не мог более уклоняться от служения Ему. Я был отмечен Им. Оставалось лишь повиноваться – и погибнуть, подобно торпедоносцам, о которых я слышал в конце войны, или тем японским летчикам, что пикировали на вражеские корабли: я воспламеню и сгорю сам, покоряясь непреклонной воле Господа. . .

Итак, я ждал случая поближе сойтись с Женевьевой. Я не решался торопить события, зная сеть осведомителей Н. и не желая испортить все дело подозрительной поспешностью. Вне стен ризницы я не обменялся с девушкой ни словом. Когда мне бывало даровано увидеть ее на улице или в лавке, я, преодолевая искушение подойти к ней и заговорить, лишь кланялся издали. Но ее присутствие на занятиях наполняло меня огромным счастьем, и я уже не мог жить, не видя сияния ее волос в косых закатных лучах, в глубине сумрачной комнатки. Я, всегда остерегавшийся цветистых образов, ловил себя на том, что сравниваю эти волосы со светильником впотьмах или с прекрасным витражом, пламенеющим в алтаре. Образ светильника особенно пришелся мне по душе. Я беспрестанно представлял себе его, словно ища спасения или какой-то таинственной поддержки. Может показаться странным: в иные вечера, когда ризницу окутывали сумерки, я доходил в экзальтации до того, что эти лучезарные волосы были для меня равны присутствию самого Бога. Куда только не увлекало меня воображение! Я грезил наяву. Так, значит, Он поселился среди нас! На краткий миг Его беспощадность растаяла в этой кротости! Потом молодые люди расходились. Женевьева ненадолго задерживалась поговорить со мной, и наконец я оставался один в ризнице, где уже сгушался ночной сумрак. Но читатель уже понял, что эта тьма была для меня светлее царства небесного, ибо сияние, которым озарило его чистое дитя, долго еще не угасало во мне.

Кто-то, быть может, спросит: а как же у меня при этом хватало сил исполнять свои пасторские обязанности? Я удивлю читателя, сказав, что после возвращения Женевьевы на ферму Бюзар я трудился больше, чем когда-либо. Каждую неделю я готовил воскресную проповедь. Я посещал больницу, организовал сбор пожертвований в пользу бедных, помогал улаживать, если меня просили, семейные дела: можно убедиться, что я не щадил себя. А были еще венчания, крестины, похороны: каждый такой обряд становился испытанием, и требовалось проявлять волю, чтобы не выдать себя на бесконечных пирушках с обильными возлияниями, которыми неизменно завершались эти церемонии. Несколько раз я чуть было не сорвался. Едва успевали засыпать умершего землей, едва были произнесены супружеские обеты перед Господом, как все эти гуляки, все кум ушки-сплетницы набрасывались на снедь и бутылки с жадностью, изумлявшей меня и наполнявшей отвращением. Я уходил. И грусть, глубокая и пронзительная, еще долгие часы не покидала меня. Да, мне было грустно, грустно оттого, что можно забыть о Боге, как, я видел, забывали о Нем на этих оргиях, этих нелепых пиршествах. Грустно еще и потому, что Бог позволил забыть о Себе, хотя я прекрасно знал, как легко было бы Ему устроить этих несчастных и вернуть Свое истинное место в их жизни. Молчание Предвечного оскорбляло меня. Его добровольное изгнание, в котором Он, казалось, неплохо себя чувствовал, было мне невыносимо. Я воскрешал в памяти ярчайшие примеры Его гнева: стены, рухнувшие перед войском Его, моровые язвы, сметенные с лица земли города, – и в уединении рабочего кабинета сердце мое скорбело и обливалось кровью. Я думал о том гневном Боге, что помог евреям одолеть столько врагов, столько дьявольских козней. Я воображал себе, как поселок очистится наконец от греха, как воссияет царство Божие на всех лицах, и, пусть сочтут меня наивным, признаюсь, что в такие минуты псалом просился на мои уста как самое естественное утешение и самая пылкая молитва:

Нет столь святого, как Господь; ибо нет другого, кроме Тебя; и нет твердни, как Бог наш.

Не умножайте речей надменных; дерзкие слова да не исходят из уст ваших; ибо Господь есть Бог ведения, и дела у него взвешены!*

От этих слов радость волной накатывала на меня. Вслушиваться в них, повторять вполголоса у себя в кабинете – это укрепляло мой дух; они помогали мне нести свой крест (и

*1-я Царств, II, 2–3.

сносить окружающее зло) терпеливо, ибо скоро, очень скоро опалит всех гнев Господень.

Я готовил кару: я был исполнителем Его воли, Его правой рукой. Хмельной восторг охватывал меня, и я готов был идти куда угодно, выступить против кого угодно: в собственных глазах я стал раскаленным камнем, нет, лучше того, булатом, оружием, чей клинок крепкой закалки сразит любого врага. Я взывал к Богу изо всех сил, и в экзальтации тех минут казалось, будто Он обращается ко мне, будто Его чудесное слово сопровождает каждый мой миг, каждый шаг. Да позволено будет это признание: в такие часы голос Бога омывал меня. Его голос был словно могучая река – ее воды катились, окутывая меня, увлекаая, поднимая. . .

После этих минут хмельного восторга испытания, о которых я упоминал выше, давались мне все труднее. Я должен сказать это, хотя моя исповедь стоит мне мук совести и повергает в глубокую печаль: испытания сделались особенно тяжелы, когда я выбрал жертву и решился возложить ее на алтарь. Нетерпение снедало меня. Хотелось выплеснуть в лицо этим людям мою ненависть, осыпать их оскорблениями, ударами, повергнуть в трепет, открыв планы моего мщения. Но я слишком хорошо владел собой, чтобы поддаваться этому порыву. Я должен был лицедействовать, чтобы победить. И я лицедействовал. Но гнев, который до поры приходилось обуздывать, становился все чернее в моем сердце. Я знал, что он будет ужасен в день жертвоприношения, когда я наконец дам ему волю.

IV

События благоприятствовали мне. Какие-то дела заставили Н. надолго уехать за границу. Целую неделю поселок наполнился слухами о его предстоящем отъезде. Наконец он отбыл. Я выждал несколько дней и однажды отправился – как будто прогуляться – по дороге, ведущей в Бюзар.

Я до мелочей помню эту прогулку: некоторые знаменательные события запечатлеваются в памяти так ярко и отчетливо, что, кажется, не сотрутся из нее никогда; они оставляют неизгладимый след, потому что предшествуют важнейшим моментам жизни, они помнятся как прелюдия, до боли живая и такая горестная. . . Нет, я ничего не забыл из того часа пути к лесопильне.

Было начало осени. Холмистая долина, крыши домиков, купы деревьев, горы невдалеке четко вырисовывались в неподвижном воздухе. Зеленые изгороди там и сям уже порыжели, и листва была тронута золотом. День клонился к вечеру. Я думал о Женевьеве. Как этот пейзаж подходил ей! С той минуты, стоило увидеть ее или просто вообразить ее лицо – даже когда она являлась мне во сне, – я всегда узнавал в ней свет, разлитый по лучам и откосам в тот предзакатный час.

Когда я пришел в Бюзар, рабочие как раз уходили с лесопильни. Они поздоровались со мной, и я прошел на широкий двор. Повсюду валялись доски, бревна, стволы с обрубленными сучьями, остро пахло смолой и лесом. Меня удивила какая-то ехидная основательность фермы: я ожидал увидеть иное. Главный дом Бюзара, где жил и устраивал свои оргии Н., окружали мастерские; был тут и большой сарай, и гараж, и кладовая, к которой примыкали надворные постройки и голубятня с остроконечной крышей. Ни души. Даже собаки не было видно. Только этот запах, невинный запах свежераспиленного дерева и пыли, так не вязавшийся с жилищем Н., с его привычками развратника и кутилы. Где же Женевьева? Я искал глазами флигель, который отец оборудовал для нее, но он, должно быть, находился за большим домом: оттуда, где я стоял, я не увидел ничего похожего на домик, что она описывала. Я мешкал, смущенный царившей вокруг тишиной; меня внезапно охватил страх при мысли, что кто-то может увидеть, как я брожу вокруг сложенных штабелями досок. По мере того как вспоминались одна за другой имевшиеся у меня причины ненавидеть Н. и желать ему адских мук, я нервничал все сильнее. Шли минуты, солнце опускалось все ниже, длиннее стали тени во дворе, а я все не решался подойти к порогу большого дома.

Это ожидание длилось еще с четверть часа; я корил себя за нерешительность, называл трусом, но меня по-прежнему бросало в дрожь от мысли, что нужно позвонить в дверь. Читатель посмеется, если я признаюсь: такое сходство увиделось мне между домом и его хозяином, что я странным образом почти физически ощущал присутствие Н., хотя знал, что он занят своими делами за сотни километров отсюда. Это присутствие леденило кровь в моих жилах. Я слышал его мощный хриловатый голос, слышал невыносимо властную интонацию, звучавшую так торжествующе в каждом слове, я видел жестокие, циничные глазки на красном лице бонвивана. Разумеется, он, недолго думая, избил бы меня, быть может, не остановился бы и перед более крутыми мерами, обнаружив меня здесь; он бы ликовал, и вся страна содрогнулась бы от громовых раскатов злобного хохота.

Я силился сосредоточить мысли на книгах моего учителя, на моем плане: ведь я ни разу не усомнился, что это воля неба и знак его могущества. Я напоминал себе о чести моего сана,

о высокой миссии, принятой мною, но, несмотря на все основания ненавидеть Н. и желание одержать над ним верх, логово врага, куда я явился, чтобы покарать его, пугало меня так, что чем отчаяннее я призывал себя к борьбе, тем глубже проникал в мою душу страх перед угрюмым безмолвием его жилища.

Я не раз замечал, какую странную власть имеют надо мной дома. Одни воодушевляют меня, наполняют восторгом, другие разят наповал подобно ударам, и лишь благодаря волевому усилию удается мне совладать со вспыхнувшим страхом и не бежать от них прочь, будто от злых чар. Бюзар был как раз из таких. Распахнутые окна на фасаде из больших камней, широкая шиферная крыша с башенкой; быть может, надменный вид придавали ему другие постройки, броской декорацией окружавшие эту крепость: их хаотическое нагромождение, тонувшее теперь в сумраке, ибо солнце уже садилось, вселяло в меня смутную тревогу, и мне было не по себе. Потом я представил роскошный выезд в гараже, вспомнил обширные владения, расчетные и долговые книги; я вновь и вновь твердил себе об оргиях, об угрозах в мой адрес, и самое настоящее бешенство овладело мной, когда я подумал, что и Женевьева может оказаться в один прекрасный день жертвой властелина здешних мест. Отвращение подтолкнуло меня. Я подошел к двери и нажал кнопку звонка.

Женевьева была удивлена, увидев меня. Она пригласила меня пройти в маленькую гостиную, которая, должно быть, служила приемной в те дни, когда Н. назначал аудиенцию своим деловым партнерам и арендаторам. Я не стал затягивать первый визит и вел разговор достаточно сухо и строго, чтобы он ничем не напоминал дружескую или задушевную беседу. Я был пастором; но как же, думал я на обратном пути, как заставить Женевьеву забыть об этом в дальнейшем, чтобы она не оттолкнула с ужасом мои первые авансы?

Дни стояли ясные и теплые. Уже во второе посещение я предложил прогуляться к лесу. Было утро. Старые дубы и осины каймой светлели у опушки, дальше начинался густой ельник – когдаходишь в такую чащу, легкий озноб пробегает по спине. Мы почти не разговаривали, и наше молчание рождало между нами близость куда более глубокую, чем та, что создается беседой, когда двое гуляющих восторгаются красотами пейзажа. Женевьева оступилась; я поддержал ее за руку, и некоторое время мы шли так, пока слишком узкая тропинка не разъединила нас. На удивление неровная лесная дорога заставляла нас петлять и взбираться на склоны; тишина стояла необычайная. Плотная, напряженная тишина; мне казалось, будто я иду сквозь фосфоресцирующую массу: под елями разливался сероватый волнующий свет. Я понимаю людей, обожествляющих лес. Божество и вправду притаилось под этой сенью. Мы знаем, что оно здесь, его присутствие ощутимо, почти осязаемо. Холод окутал наши плечи – не быстрый холодок озноба, но долгий, пронизывающий холод, быть может, предвестие могильного, – с грустью подумалось мне. . . Я старался целиком сосредоточиться на этой минуте, чтобы потом ничего не утратить из ее колдовского очарования: Женевьева рядом со мной, ее неуверенные шаги по неровной тропе, и это нарастающее в душе ощущение, что мы вошли в священное место, где даже шаги заглушаются, чтобы не нарушить тишины, и чаша перед нами, такая глубокая, что, если всмотреться в даль, кажется, будто дымка окутывает стволы, мешая разглядеть, что же там, за теми. . .

Возвращались мы, увлеченно беседуя. Близился полдень. Из леса мы вышли в поле, и радостное настроение вернулось к нам, когда мы вновь увидели солнце. Мы говорили о церкви, о катехизисе, об учебе Женевьевы в пансионе, который она недавно покинула. Девушка оживилась, повеселела, она рассказывала очень интересно, и я дивился тонкости и точности ее суждений. Она поделилась своей тревогой: ее беспокоили необузданность и разгульная жизнь отца. Я убедился, что она не имела никакого отношения к бесчинствам в Бюзаре. Она не выносила шума и, когда в доме бывали «гости» – так это называли при ней, – запиралась

у себя во флигеле, закрывала ставни и слушала музыку или читала в одиночестве.

Мы продолжили наши прогулки, и нам удалось не привлечь внимания прихожан. Теперь я каждый день ходил в Бюзар одной и той же окольной дорогой. Я подходил к дому сзади. Женевьева ждала меня в своем флигеле, облокотясь на подоконник. Она выходила мне навстречу, и вскоре мы оказывались на опушке леса. Женевьева любила эти прогулки. Она чувствовала себя не так одиноко, к тому же при своей любви к чтению и интересному разговору она нашла во мне внимательного и участливого собеседника.

Я же каждый час, каждый миг чувствовал, как крепнет моя любовь к этой девушке, и читатель поймет меня, если я попытаюсь теперь подробнее объяснить, каким образом глубокая нежность и желания, что влекли меня к ней, победили мою решимость принести ее в жертву.

V

Ни юные девушки, ни женщины никогда не привлекали меня. Напротив, до сего времени я испытывал в их присутствии страх, зачастую близкий к отвращению. В университете мои однокашники не раз пытались просветить меня, даже держали пари. Я взирал на их пьяные игрища с жалостью. Армия дает в этом плане кое-какие возможности, но я не воспользовался теми, что подворачивались в немецких городах, где мне довелось служить. Да я ведь уже говорил: все мое время было отдано учебе, и я предпочитал книги любому обществу. Моя мать страдала из-за того, что я одинок. Ей хотелось бы видеть меня женатым, быть может, отцом семейства; наконец настал день, когда мне пришлось со всей откровенностью объясниться с ней насчет моих намерений, чтобы она перестала зазывать то к обеду, то к ужину дочь одной из своих подруг, девицу, должен признать, довольно привлекательную, но до того кокетливую, что у меня сводило челюсти. На этом вопрос был закрыт. Я видел пагубную власть плотских желаний повсюду, они разрушили жизнь даже одному из моих преподавателей: мне было доподлинно известно, что этот человек редкой души и большой учености был завсегдаем веселых домов и наведывался в переулки нижнего города, где похоть толкала его на самые немислимые гнусности. Подобное свинство было мне омерзительно. Плоть сжигает души. Сознаюсь, мне случалось ненавидеть Бога за то, что по Его воле человек во имя продолжения рода осквернен столькими наваждениями и маниями. Мать Христа была непорочной девой. А наши матери валялись в лужах спермы. Как же так? Много раз мне хотелось спросить об этом кого-нибудь из моих учителей, но меня удерживал стыд. В конце концов все у того же Кальвина нашел я определенные ответы на мои сомнения. А гадливость, которую внушал мне разврат, отвратила меня от женщин.

Эта неприязнь, эта гадливость имели и другие последствия. Поначалу я сам не хотел отдать себе в этом отчет, но мысли о наказании тех, кто погряз в распутстве, повергали меня в странное волнение, особенно в последние два-три года – все чаще и чаще представлял я себе, какие кары обрушил бы на блудниц, попадись они мне в руки. Хочу подчеркнуть: я не вызывал этих видений намеренно. Они неотступно преследовали меня в часы медитаций, они возвращались вновь и вновь, восхитительные картины, живые и отчетливые, надолго погружавшие меня в экстаз.

Многие удивятся подобному признанию из уст пастора. И еще раз заметят, как мало места в моих помыслах было отведено милосердию. Разве Евангелие не учит прощать? Поймут ли меня, если я скажу, что ненависть покидала меня, когда жертвы оказывались в моей власти? Бич сближал меня с ними, прощение приходило с пыткой. Чувство причастности роднило нас, когда я видел их в моих путах, и их мольбы, их стоны были для меня столь сладостны лишь тем, что ласкали мой слух в первый миг.

Но я отвлекся. Я грезил о долгих, изошренных наказаниях: я не закрывал глаза на то, что эти грезы опасны и предполагают расстройство психики. Я, кажется, уже не раз повторял, что я – приверженец порядка? И я наводил порядок в себе самом, как хотел навести его в окружающем мире. Разгадать меня не мог никто. Я был пастором Бюргом, серьезным человеком, всегда одетым в черное, обходительным и высоконравственным холостяком, вдохновляющим примером добродетели для всего прихода.

Тогда-то родился мой план: сделать Женевьеву искупительной жертвой. Сперва я, как обычно, упивался этой картиной в своем воображении, но прошло несколько часов, и неотвязная идея захватила меня: я должен на самом деле ее погубить. Надо решиться, пора. Я

стану любовником Женевьевы Н. Она заплатит за всех. Несколько недель я попользуюсь ею, потом верну, опозоренную, отцу, дабы в одиночестве насладиться своим торжеством. Вы думаете, я льстил себя надеждой на легкую победу? Я долго размышлял об этом: нет ничего на свете, над чем не одержали бы верх порядок и верный расчет. Мне потребуется много времени – пусть. Но падение Женевьевы неизбежно.

Не стану скрывать: задолго до отъезда Н. я уже знал, что не только моими планами мести объясняется то, что я с таким нетерпением ждал встреч с девушкой, неотступно думал о ней, представлял себе ее лицо, когда ее не было рядом. Я не обманывал себя на этот счет: впервые в жизни я полюбил.

С другой стороны, когда мы только начали встречаться вне занятий, чем ближе узнавал я Женевьеву, тем ненавистнее мне были гнусности Н., его злоба, власть, которую он имел над округой. Тогда я еще не задумывался ни о том, что станет с Женевьевой после жертвоприношения, ни о том, чем это обернется для меня самого. Предвкушение битвы опьянило меня. Борьба занимала теперь все помыслы – кроме тех, что были отданы Женевьеве. Я был уверен, что совершу правый суд. Необходимость порядка сомнению не подлежит. Нечестивец будет наказан, Бог удовлетворен жертвой. Слава Его и Его закон – все остальное не в счет.

Наши прогулки уводили нас каждый раз все дальше в поля или в лес, и, возвращаясь, я чувствовал, что они связывают нас все теснее. Наступил октябрь. Осень удивительно прекрасна в этих краях; она благоприятствовала нашему сближению, и мы теперь беседовали как давние друзья. Осины сверкали и искрились под белым небом; буки и дубы походили на старинные доспехи: тронутые там и сям золотыми бликами, огненными языками, живой и трепещущей ржавчиной, они чаровали взор. Стало холодно. Снег лежал на горах уже довольно низко. Небо было удивительной безмятежной чистоты, его бледно-голубой цвет постепенно переходил в белый, и в этой белизне подрагивало золото над черной стеной елей.

Женевьева рассказывала мне о своем детстве; она часто вспоминала лицо матери, ее нежность, счастливые дни, проведенные рядом с ней. Потом пришло горе, долгие месяцы у постели больной, которая таяла день ото дня, подтачиваемая беспощадной раковой опухолью, потом похороны, и малышка, обезумев от ужаса, смотрела, как исчезает под землей дубовый ящик. «Ты встретишься с ней на Небе», – сказали ей в утешение, и с этого дня небо пугало ее, как страшный сон или зловещее место, связанные с разлукой и бедой. Н. не смог оставить дочь при себе. Он был слишком занят делами. И начались странствия из одного пансиона в другой, а в промежутках – безрадостные приезды в Бюзар на Рождество и на Пасху, унылые каникулы в большом пустом доме, где Н. ходил кругами, точно хищный зверь. Внезапно он срывался и увозил дочь путешествовать: Испания, Канарские острова, Лазурный берег, самые роскошные отели, где девочка скучала и плакала украдкой, обратный путь, заторы на дорогах, и Н. непременно ругался с водителями. . . Девушка открывалась мне, голос ее звучал ровно, и только по долгим паузам, повисавшим порой между ее рассказами, я догадывался, как она взволнованна и как тягостно ей вновь переживать те печальные годы.

Несколько дней спустя я впервые обнял ее. Мы вышли из леса и остановились на каменной площадке, с которой открывался вид на всю долину. Горы сверкали, пронзительно голубое небо, казалось, звенело над нашими головами. Она уткнулась лбом в мое плечо, я почувствовал ее мягкие волосы, ветер взметнул их к моему лицу. Еще не один день воспоминание об этой минуте волновало меня до глубины души, и в то же время на меня снисходил покой, какого я никогда доселе не испытывал, сравнимый разве что – да, я смею написать это – с чистейшими радостями веры.

И тогда удивительным образом я как будто стал другим человеком. Я поведал Женевьеве все: о моем одиночестве, моих тревогах, моих планах, о законе, которому я считал себя

обязанным подчиняться. Прогулки наши продолжались. Октябрь близился к концу: Н. скоро должен был вернуться из своей поездки. Но невозможно представить себе более полного спокойствия, чем то, что испытал я, узнав о его возвращении. Дни глубокой безмятежности, которые были мне дарованы, излечили меня от гнева. Нет, не думайте, будто я забыл хоть одну из имевшихся у меня причин ненавидеть и желать мщения. Здесь другое. Женевьева пробудила меня. Я был одинок, я считал себя человеком с ледяным сердцем, орудием порядка в руках Господа, острым клинком, призванным сразить зло. Сказать, что я простил – значит, ничего не сказать. У меня было такое чувство, будто я освободился, точнее – с меня упали путы. Женевьева вернула мне любовь, всю любовь, человеческую и земную. Я не видел своих родителей больше года: теперь я навестил их в Л. Мать плакала от радости; прощаясь, мы крепко обнялись. Я жил, опасаясь всех и вся, тайно вел свою игру, в одиночестве вынашивал зловещие планы: я был слишком привержен истине, чтобы скрывать от себя прискорбную склонность моего духа в эти последние два года. Но та истина, обернувшись ко мне другой стороной, заставила меня признать, что одиночество и страх были мне дурными советчиками и что мне мерещился глас Господень там, где говорила лишь моя собственная слабость. Я молил Его о прощении, благодарил от всей души. Я был услышан. Недели, следовавшие за этим, были самыми прекрасными в моей жизни.

Я не жалел сил, я проповедовал, устраивал встречи прихожан и молитвенные собрания, на которые стекалось все больше народу. Почти каждый день я посещал больницу. Я навещался на отдаленные фермы, разбросанные у подножия гор. Прodelывая долгий путь в одиночестве, я вкусил всю полноту счастья. Было холодно; дыхание клубилось облачком у лица, когда я рано по утру отправлялся в дорогу. Я шел через луга, вдоль лощины, откуда поднимался золотистый туман. Выходя за пределы коммуны, я видел перед собой лес, кое-где дорога моя шла под его сводами, и наконец я добирался до каменистого подножия гор. Я стучал в дверь шале; все они были похожи: полутемная кухня, крытая дранкой, кровать у стены, примыкающей к хлеву, где время от времени позвякивали колокольчики коров и овец. Меня всегда ждала чашка горячего кофе. Потом я открывал Библию, мы молились, меня спрашивали о делах в приходе. Под вечер я возвращался в поселок, залитый светом осеннего солнца.

Так, значит, жизнь пастора может быть полна и праведна?

Никогда еще я не готовил свои проповеди с таким усердием, никогда не читал Священное Писание с такой радостью, находя в нем светлые слова утешения. Прежде я видел в нем лишь пагубу и возмездие, грозные речи ревнивого Бога, войны и истребление. Теперь же находил там гармонию, взаимное тяготение тела и души, щедрость колоса и теплоту хлеба, прохладу свежей воды на иссохших губах. Суровая красота стихов и псалмов Библии впервые поразила меня. Я видел, как встают с ее страниц люди. Эти мужчины и женщины задолго до меня любили на этой земле, и я любил их, и любил через них всех живущих. Я понял, что такое дружеская рука, доверие, влечение двух сердец и доброе слово. Я снова молился. Этого не случалось со мною с детства. Я, возмнивший, что молитва моя бессмысленна, ибо я вершу деяния во имя Бога, вновь обретал благодать, обращаясь к Нему; я твердил, что люблю Его, я поверял Ему мою нежность к Женевьеве и молил о прощении за то, что так плохо служил Ему все эти годы. И на душу мою снисходил покой, ибо я знал, что молитва моя услышана, и жизнь была чиста, как родник.

VI

Должно быть, у каждого в жизни бывают такие наполненные дни, когда все существо воспаряет, охваченное пламенем, когда обостренный разум лучше улавливает сокровенный смысл всего пережитого, когда сердце глубже впитывает малейшие оттенки каждого мгновения. Взгляд внимательнее, восприимчивее к красоте земли и живых существ. Щедро раскрывается память. Сон становится насыщеннее и легче, спящий словно идет через зачарованный лес, полный мимолетных теней и голосов, забытых лиц и стихших шагов. Нет больше преграды между сном и явью, словом и грезой, ночью и днем. Прошлое и будущее сливаются воедино. В такие минуты я думал о крещении, о том, чем был этот обряд для первых христиан: освобождение, обновление и освящение, чистая, прохладная вода омывает душу и утоляет ее жажду, укрепляет ее и защищает от зла, от смерти. Распахиваются врата. Вы вступаете в свет, словно в притвор храма, вы входите в неф, где разлито бело-золотое сияние.

Воздух под сводами храма трепещет от счастья. И я, войдя в эти врата, познал истинное обращение и дивился снизошедшей на меня благодати. Смерть всегда казалась мне лучшим уделом, чем жизнь. Много лет, думая я ней, я готов был к уходу – как учит Кальвин, я не отрывал от нее взора. Жизнь я считал чем-то преходящим, а тело мое представлялось мне тюрьмой; я знал, что рано или поздно покину его, и это будет освобождением. Теперь же сама мысль о смерти ужасала меня. Тело – храм Господень, а не только тленная плоть, пожираемая червями, и рассыпающийся прахом в земле скелет. Почему же не любить эту жизнь и всех живущих, даже боли и страдания ее? Храм Господень. Я много думал над словами апостола Павла, находя в них красоту и духовную опору. Конечно, мы не принадлежим себе, и в этом я был с ним согласен, ибо по-прежнему считал себя рабом Божьим, Его служителем, Его собственностью. Но: «Славьте Господа в теле вашем», – добавлял апостол, и наша брменная плоть теперь представлялась мне подобной ярко горящему светильнику или этим сияющим красками осени деревьям, вспыхнувшим на краткий миг костром, чей свет так волнует нас еще и оттого, что мы знаем: он угаснет к зиме. Все мы умрем. Холод убьет эту листву, земля поглотит эти глаза, время обратит в прах кости.

Только любовь останется. Только любовь возвышает плоть. Трепетный огонь, который холод и сырость грозят погасить, еще пламенеет перед долиной мрака.

Ребенком я любил смотреть на парящих в небе птиц, на цветы, на деревья в лесах и садах. Мать научила меня различать их, знать по именам и любить. Она читала мне о них, показывала картинки в альбомах, а потом, на прогулках, я должен был узнать птицу по голосу, жучка по полету, дерево по коре и листьям. Поглощенный моими занятиями, я надолго забыл о них. Теперь я видел все это вновь. Я смотрел на утесы, на поля, на серые звездочки чертополоха – последние оставшиеся на лугах цветы, – следил за полетом ястребов над прозрачно-чистой долиной. Деревья обрели какую-то почти нестерпимую красоту: боль пронзала душу при виде этого обреченного войска в сполохах молний и хриплых боевых кличах. Они тоже сгинут в ледяной бездне, говорил я себе, их великолепии поглотят грязь и тьма. Они тоже канут в вечное безмолвие. . .

Несмотря на обуревавшие меня мысли, как я уже говорил, я ни в коей мере не пренебрегал своими пасторскими обязанностями. Женевьева была теперь моей любовницей. Уроки катехизиса возобновились. После двух часов занятий девушка приходила ко мне в мою комнату; я обычно поджидал ее, сидя за письменным столом над раскрытой Библией или моими

бумагами и записями. По окончании урока она делала вид, будто идет домой вместе со всеми, но, замешкавшись в переулке, огибала дом священника и возвращалась ко мне. Я слышал ее легкие шаги на лестнице, в прихожей; дверь отворялась, она появлялась на пороге и шла ко мне, неотрывно глядя прямо в глаза. Я целовал ее шею, плечи, живот под теплой тканью платья. Темнело. Девушка не раздевалась полностью. Она тихо и часто дышала в полумраке, веки ее были сомкнуты, белые зубы поблескивали из-под приоткрытых губ. Как прекрасна она была в эти минуты, когда ее тело казалось фосфоресцирующим в скудном свете, падавшем из квадратика окна, – он слабел, медленно угасал, и вокруг этих плеч, этого лона сгущалась тень, точно прообраз смерти. Сегодня я могу это написать. Я познал скорбь, я познал уныние, видя, как всякий раз в битве тьмы и света побеждает тьма, как она пожирает это тело, как тонет оно мало-помалу в ее зловещей черноте. Я смотрел, как Женевьева умирает. Я держал ее живое тело в своих объятиях, но тьма уже победила. Странная уверенность в смерти, которую можно перечеркнуть одним движением: протянуть руку, нащупать выключатель на стене – и на снежной белизне подушки любимое лицо в ореоле волос снова сияет дивным светом.

Прошел месяц; близость наша изо дня в день становилась все глубже – этот месяц связал нас всем, что есть самого высокого в душе, самого живого и пылкого во плоти. Кто же ты? – непрестанно спрашивал я себя. Что с тобой станется? Или ты забыл, что ты пастор? Но страха не было в этих вопросах. Я наслаждался каждым днем. Женевьева была такая светлая! То были недели, исполненные благодати. Тех, кто воображает, будто счастье отвлекало меня от моего служения, могу заверить, что они глубоко заблуждаются: никогда еще я не был душой и телом так свободен для исполнения пасторских обязанностей и так естественно расположен сеять вокруг себя добро. Я работал, писал, служил, проповедовал, наносил визиты, а вечером Женевьева приходила ко мне; иногда нам удавалось встречаться по нескольку вечеров подряд – девушка заранее предупреждала Н. о дополнительных занятиях по катехизису. Н. не выражал недовольства; напротив, мы заметили, что его устраивало отсутствие дочери: он мог допоздна не возвращаться в Бюзар или же, избавившись от пары ясных глаз, которых уже начинал стыдиться, устроить там очередное застолье из тех, что неминуемо перерастали в оргии. Эти же самые глаза были моей отрадой. Я не уставал испытывать их пронизательность, и, когда мы гуляли в лесу, для меня не было большей радости, чем дать им вести себя, видеть через них и открывать для себя все вокруг по-новому, слушая, как Женевьева описывает вид, который она для меня выбрала. Это было нашей излюбленной игрой, надо ли говорить, что я предавался ей со всей серьезностью и старанием: один из нас закрывал глаза, а другой вел его за руку, описывая места, по которым шли. Вскоре мы присаживались где-нибудь. Я не открывал глаз. «Вот, – говорила Женевьева, – сидим на полянке (да ты и сам чувствуешь, здесь свежее, чем было в лесу). Выглянула луна; облака вокруг нее белые, серебристая мерцающая белизна на серебряном фоне. Полянка серая, почти круглая. В сотне шагов от нас дубы, у них желтые верхушки; я вижу цвет, но стволы тонут в тумане...» Так мы могли играть подолгу. Становилось все прохладнее, иногда начинал накрапывать дождь. Мы возвращались проселочными дорогами, удаляясь от леса; разговаривали мало, счастливые нашей любовью, взаимным доверием, не сомневаясь, что будущее рассыплет перед нами новые и новые сокровища – и что, как бы то ни было, мы соединимся навсегда. Мы подходили к Бюзару, но я не чувствовал больше ни тени гнева. Часто из окон вырывалась танцевальная музыка, а порой и смех и крики кутил, но ненависть моя растаяла в счастье. Мне казалось невероятным, что несколько месяцев тому назад я замышлял погубить Женевьеву. Я узнал себя наконец. Все

изменилось. Такова истинная сила – и я вновь возносил хвалу ее всевластию.

Игра, о которой я рассказывал, представляет те дни в самом верном свете, но ведь если двое влюбленных хотят видеть глазами друг друга, хотят этого так, что сливаются в едином взгляде, – что же тут особенного? «Когда мою руку сжимает рука твоя» – есть такие строчки в одном псалме нашей Церкви; когда Женевьева вела меня по ухабистой дороге, описывая лес, поля, окутанные дымкой горы вдаль, меня часто вновь охватывало то волнение, которое я испытывал ребенком, запевая вслед за отцом и матерью в толпе верующих:

Твоим наставленьям внимая
Всею душой
Я истинный путь различаю
Во тьме ночной
Когда мою руку сжимает
Рука твоя
Ведомый тобой, ступаю
Без страха я.*

Я снова вдыхаю прохладу большого храма, ступеньки кафедры скрипят под ногами пастора, в нефе кашляют, шепоток пробегает по толпе, все садятся. . . Странно было возвращаться в ту пору. Моя мать сидит на скамье очень прямо, прижимая к груди старый Псалтырь с золотым обрезом. Отец одет в черное. По воскресеньям он всегда ходит в этом строгом и торжественном одеянии, и лицо его кажется мне еще более суровым, чем в другие дни. Воскресенье. Слова псалмов взмывают к серым каменным сводам. . .

Более удивительным, чем наша игра в жмурки, кажется мне моя тогдашняя безграничная вера в Женевьеву – как будто она всегда была неотъемлемой частью моей души и даже – я смею написать это – моим спасителем, высшей силой, будто она и только она давала мне жизнь. Вернувшись с прогулки, я бросался на колени – что могло быть естественнее? – и благодарил Бога, даровавшего мне столь чистую радость. Да, то была благодать, я не сомневался в этом. Я был полон признательности, я возносил хвалу, я был счастлив, и Женевьева каждый день приходила ко мне.

Зима возвестила о себе первыми заморозками, долгими сумерками; первый снег лег на деревню, и перед домами выросли поленицы дров. В начале декабря выдалось несколько на редкость прекрасных дней: бездонное голубое небо над искрящимися склонами, солнце, отчетливые силуэты гор и такие яркие рыжие долины меж ними, длинная цепь белоснежных вершин под крошечными облачками, парящими подобно рассыпанному в глубине пейзажа цветам. . . С наступлением декабря закипает в этих краях бурная жизнь: хозяева готовятся к открытию отелей, заново красят фасады дорогих пансионатов, и целые толпы горничных, поваров, портье и официантов в считанные дни заполняют поселок. Во всей этой суматохе прихожане, как никогда, предпочитают держаться тесным кружком, и забавно видеть крестьян и гостиничную публику, которые живут бок о бок, однако обособленной жизнью. Проходит еще немного времени – и вот уже мчатся по улицам сани, запряженные резвыми лошадками, далеко разносится звон колокольчиков, из баров слышна американская музыка, воздух дрожит от гула фуникулеров. Это начинается «сезон».

В этом году ясные дни, сухой и чистый снежок сулили хорошие доходы. Но потом погода внезапно испортилась, налетел ураган, повалил снег, и казалось, ему не будет конца: снег

*Перевод Е. Туницкой

был тяжелый, густой, мокрый, он засыпал лыжные трассы, невозможно стало даже прогуляться. Скверная зима. В четыре часа уже темнело, глубокий снег покрыл склоны. Потом снегопад кончился, задули порывистые влажные ветры, ломая в лесу деревья, срывая дранку с крыш. . . Курортники уезжали. Отели закрывались один за другим. Можно было видеть, как бредут, сутуля спины под ветром, к станции группки обозленных людей, ошестинившиеся лесом перепутанных лыж. На поселке это бегство сказалось самым пагубным образом. В метеослужбу звонили по двадцать раз на дню: погода стала бедствием для всех горнолыжных баз. Кафе были переполнены. Витрины с сувенирами выглядели теперь нелепо, предлагая копилки-шале и вышитые замшевые кошельки в деревне, покинутой туристами и лыжниками.

Но нам с Женевьевой, хоть мы и не могли никому об этом сказать, такая погода очень нравилась, и каждый день мы отправлялись на прогулку в истерзанный ветрами лес. Он местами являл собою картину разорения: вывороченные корни елей вздымались среди пней, ямы зияли воронками между стволов, то поваленное дерево, то ворох сломанных сучьев загораживали дорогу, густо припорошивший их снег сглаживал колючие очертания этих преград. Трудно было пробраться среди завалов: их белизна слепила глаза, и мы то и дело спотыкались, неуверенно ступая в расщелины и рытвины, разверзавшиеся под нашими ногами. Однако ни за что на свете мы не отказались бы от этих прогулок.

Я долго думал о них, прежде чем выйти из дому, заранее предвкушая радость от лицезрения снега, и сердце мое учащенно билось, когда я представлял себе минуты, которые проведу вдвоем с Женевьевой. А поздно вечером, проводив ее в Бюзар, я вспоминал белые галереи и пещеры, ослепительные стены и залы, выстроенные глубоким снегом, наши тайные владения, чистые и безмолвные, куда мы попадали, входя под сень леса. Иногда у меня бывало там такое чувство, будто я вошел в архитектурное сооружение, совершенное в своей фантазии: словно зодчий, храня свою тайну, закруглил углы, изломал коридоры и аллеи, разрушил симметрию причудливыми нагромождениями, ледяными натеками, кудрявыми, как облака, кустами между галереями белоснежных деревьев, выстроил снежные стены, внезапно закрывающие перспективу тропы или белого зала под серым небом за сверкающими инеем ветвями. Солнца не видно. Сияние исходит от белизны – долгий, мягкий и ровный свет, незадуваемый ветром. Время от времени ком снега падает на землю. И снова смыкается тишина. Время вращается вокруг своей оси. И так долго не властен вечер над этими стенами. Белизна не гаснет, лес тонет в тумане, в сумраке, но под деревьями белый свет еще указывает дорогу идущим. . .

Я разжигал огонь в камине в моем кабинете, отсветы пламени плясали по комнате, и оживали в алом свете бумаги на столе, мебель, гравюры на стенах. В Бюзаре Женевьева, должно быть, уже спала, и я видел ее рассыпанные по подушке волосы, сияющий венец среди зимы, словно залог того, что вновь засветит солнце. А я завтра снова прижму ее к своей груди, завтра ее красота и нежность вновь воспламят меня своим светом. К чему сомнения? Можно просто жить в этом мире. И в череде дней крепко наше счастье под взглядом доброго Бога, под Его светом, и было ясное небо, белизна, плоть, торжествующая над печалью и смертью.

Приближалось Рождество. Я должен был заняться приготовлениями к празднику. Каждый год прихожане устанавливают в храме большую ель, а катехумены украшают неф ветками и букетиками остролиста. Храм становится похож на зеленый лесной свод, витражи отбрасывают под эту сень блики закатных лучей. Остро пахнет смолой, и если закрыть на минуту глаза, опьянев от дурманящего аромата, то удивишься, почему же не поют птицы в этом глухом и сумрачном лесу. Странная это пора. Возбуждение охватывает прихожан, их дети разучивают в школе рождественские псалмы, классы полнятся евангельскими чтениями.

Я считаю минуты: каждый год я жду не дождусь, чтобы жизнь вновь вошла в привычную колею и мой храм обрел бы свое истинное лицо.

VII

Но в этом году, наоборот, приближение Рождества наполняло меня радостью, и я ожидал его с таким же нетерпением, как все. Украшение храма и подготовка к празднику позволяли Женевьеве проводить еще больше времени подле меня. Поднимая глаза, я видел, как она трудится среди других девушек и юношей, размещавших зеленые букетики в нишах, на нимбах ангелов, среди ветвей ели. Ель уже установили. Ее пышно украсили свечками и звездами. Все приходило на нее полюбоваться. Счастье окрыляло меня. Гимны, которые мы повторяли, наполнялись для меня истинным смыслом, тексты и стихи, которые я толковал, находили место в моем сердце. В рождественских яслях расставили восковые фигурки: Мария, Иосиф, младенец Иисус, пастухи и волхвы в золотых одеяниях. Стойло наполнили соломой, а алтарь за ним был убран ветками остролиста, словно для того, чтобы окружить сцену ореолом жестокости, и в этой воинственной и кровавой чаше, сомкнувшейся за потоками чистейшего света, я узнавал мою прежнюю душу, ту, что жаждала покарать, сломить, восторжествовать в неведении своем и страхе.

Я между тем готовил рождественскую проповедь. Полный моим новым счастьем, я решил посвятить ее прощению обид и любви. Я перечитывал Евангелие от Луки: «Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников...» И еще: «... по благоутробному милосердию Бога нашего, которым посетил нас Восток свыше, просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира». Думая об этих словах, я вспоминал все прошлые рождественские праздники и осознавал, что до той минуты, когда я полюбил Женевьеву, я жил «во тьме и тени смертной», я опасался своих ближних, но следил за ними и судил их, я перебирал их преступления и вынашивал планы мести. Страшная и зловещая пора. Со студенческих лет в моей душе сохранилось недоверие к этому чересчур торжественному слову, но теперь я не мог не признать: я пережил обращение, и эта мысль наполняла меня хмельным восторгом, вдохнувшим в слова моей проповеди новую силу убеждения, пламенную и чистую.

Наступило 20 декабря – читатель вскоре поймет, почему я с такой точностью помню это число, хотя вообще у меня всегда была плохая память на даты. Но в этой я уверен, как и в том, что не забуду до самой смерти – я говорю это без иронии – ни единого из событий последующих дней. Тот день был ясный и тихий, природа как будто затаила дыхание в ожидании праздника. Снег озарял комнаты своей белизной, и в этом белом свете мысль моя работала с удивительной четкостью. Блаженный хмельной восторг не проходил. Он еще усилился к полудню: меня словно приподнимало над землей, бросало в трепет... Я заканчивал свою проповедь, К середине дня я был готов перечитать ее; за последние два часа я все острее, почти до изнеможения, ощущал, что мысль моя близилась к апогею, по мере того как продвигалась работа и все ослепительнее становилась белизна снежного света.

Итак, мне предстояло перечесть готовый текст. Обычно я принимаюсь за эту часть работы не без внутреннего беспокойства. Когда я перечитываю написанное мною, все кажется мне бессвязным, слабым, беспорядочным, и я просиживаю долгие часы, иногда ночи напролет, пытаюсь воплотить свои мысли на бумаге. Но в этот день впервые в жизни я перечел свои листки на одном дыхании; мне не понадобилось ничего менять, разве что внести несколько небольших поправок. Сделав это, я принялся перечитывать проповедь снова, на сей раз вслух,

дабы убедиться, какое впечатление она произведет на собравшихся. Я с головой ушел в работу. Мне не сиделось, и я встал, продолжая читать громким, подрагивающим от возбуждения голосом. Я шагал взад и вперед по комнате, помню даже, что в какой-то момент, увлекшись, подкрепил свою речь ударами кулака по косяку оконной рамы, при этом я, поглощенный моей проповедью, даже не видел, что творилось за окном.

И вдруг я остановился, охваченный чувством необъяснимой тревоги; ощущение было особенно жутким оттого, что – я с горечью осознал это – последние месяцы я прожил в безмятежном покое. Должно быть, так страдают – это я понимаю теперь – выздоравливающие, с ужасом чувствуя приближение рецидива, когда открывшаяся рана или затаившийся недуг вновь пронзают зловещей молнией боли. Прошло несколько секунд – или минут. Теперь мне было страшно; страх сковал меня, лишил дара речи. Я стоял, остолбенев. Листки выпали у меня из рук, и в тот же миг я будто очнулся. Я вздрогнул, обнаружив, что переулочек уже потонул в вечернем сумраке. Я обернулся, но вместо того, чтобы броситься в комнату, разрушить злые чары, приковавшие меня к окну, так и остался стоять, не в силах сделать и шагу, настолько потрясло меня то, что я увидел: в нескольких шагах от меня, на низком диванчике у стены сидела Женевьева; ее запрокинутое ко мне лицо, освещенное скудным светом, еще лившимся из окна, странно блестело и было очень бледно, приоткрытый рот, из которого не вырывалось ни звука, казался на нем черной трещиной, при виде которой острая жалость пронзила меня. Я заметил, что она вся дрожит. Страх отпустил меня. В какую-то долю секунды я понял, что Женевьева вошла в комнату, когда я в упоении читал мою проповедь, и одна только сила моих слов привела ее в такое состояние. Я зажег лампу, закрыл ставни, подобрал листки, которые выронил, когда на меня нашло помрачение, и сел рядом с ней на диванчик. Лампа прогнала грязно-белые вечерние отсветы, теплое сияние наполнило комнату, согревая нас. Женевьева, однако, все еще дрожала, ее колотил озноб. . . Мало-помалу она успокоилась, и некоторое время мы разговаривали так, будто ничего особенного не произошло.

То, что случилось потом, я едва могу описать – я хочу сказать, что, рассказывая об этом, испытываю мучительную неловкость с примесью ужаса, хотя помню все с пронзительной отчетливостью.

Девушка вдруг вскочила, словно распрямившаяся пружина, повернулась и стала передо мной; она беззвучно заплакала, и лицо ее исказилось страданием, которого я не мог постичь. Я встал, хотел подойти к ней, но ее взгляд остановил меня: так она не смотрела никогда, невидящие глаза были устремлены вверх меня, в стену, и она стояла, не в силах произнести ни слова, вся во власти своего смятения и темных сил, отторгавших ее от нее самой. Я тихонько позвал ее по имени, но она как будто не слышала меня. Наконец я решился подойти, шагнул к ней и взял ее за руку; мой безобидный жест, который она, должно быть, восприняла как попытку применить к ней силу, пленить ее, стал причиной страшной сцены, последовавшей за этим. Едва мои пальцы сомкнулись вокруг ее хрупкого запястья, как она с яростью вырвала руку и отскочила, выкрикивая какие-то невнятные слова, среди которых я разобрал только «преступно» и «рождественская проповедь». Когда я снова попытался подойти к ней, она закричала еще громче. И упала. Она потеряла сознание (еще раньше я заметил, как ужасно она побледнела). Колени ее бессильно подогнулись, и обмякшее тело рухнуло на пол, глухо стукнувшись об угол камина. Я кинулся к ней, чтобы предотвратить удар, но слишком поздно. Сказать по правде, все произошло с невероятной быстротой. Я поднял девушку и отнес ее на свою постель, чтобы перевязать: из длинной раны на лбу обильно текла кровь. Я приложил к ней носовой платок; когда я промывал рану, Женевьева открыла удивленные глаза. Краски понемногу возвращались в ее лицо; потом она, похоже, вспомнила происшедшую только что сцену и терзавшие ее страхи, потому что в ее взгляде появилось то же безумное выражение,

которое я впервые увидел в нем, когда она стояла посреди комнаты. Она ничего не сказала, но глаза ее наполнились слезами. Я отодвинулся. Женевьева встала, по-прежнему не говоря ни слова, шагнула к двери и вышла из комнаты. Я услышал ее быстрые шаги на лестнице; хлопнула входная дверь. Что же сломалось сейчас? И отчего вдруг эта вспышка? Я хотел было кинуться вслед за Женевьевой, догнать ее, засыпать вопросами, но одумался: на улицах поселка было довольно людно в этот час, к тому же овладевшее молодой девушкой иступление пугало меня: я не мог заговорить с ней, не нарушив окончательно своего душевного равновесия. Ибо в этот вечер я со всей уверенностью понял: еще одного срыва я не вынесу, и я должен собраться с силами, чтобы противостоять катастрофам, грозившим обрушиться на наш покой и счастье. Я спустился вниз, запер двери и лег, даже не поужинав – только принял снотворное и почти тотчас провалился в тяжелый сон без сновидений.

VIII

Назавтра я полдня был занят разными встречами. Я наносил визиты, расточал слова утешения, но мысли о происшедшем вчера не оставляли меня. Меня уговорили остаться пообедать; казенно-благодарное настроение, царившее за такими трапезами, я всегда с трудом выносил, и в этот день мне стоило неимоверных усилий не швырнуть прибор в лицо моим хозяевам и не броситься под любым предлогом звонить Женевьеве. Помню, что разговор шел об армии, о ее необходимости, о плюсах и минусах армейской службы. Старший сын хозяина дома только что получил чин лейтенанта кавалерии; чуть не лопааясь от гордости, он превозносил свой драгунский полк. Его брат неуклюже подшучивал над ним. «В моторизованной армии. . . – повторял он. – В уважающей себя, а стало быть, моторизованной армии. . .» – и этот назойливый рефрен просто выводил меня из себя. Наконец все встали из-за стола. Я помчался домой.

Открывая дверь, я затрепетал от счастья: до меня донеслись последние такты экспромта Шуберта; я сам разучивал его ребенком и сотни раз слушал, как моя мать играла его для меня. Это была Женевьева. Она вошла, как вчера, поджидая меня, открыла старенькое пианино в кабинете. . . Музыка заиграла вновь. Каждая нота звучала в старом каменном доме гулко, с пронзительной отчетливостью, и это взволновало меня до глубины души. Мелодия лилась, грустная и чистая, это было аллегро, музыка плавная и невесомая, но исполненная острой тоски, будто композитор, зная, как мимолетны и недолговечны его творения, все же хотел, чтобы они проникли в душу, тронули ее, потрясли, быть может, глубже, чем какой-нибудь большой концерт.

Я вдруг увидел нашу гостиную, стопку нот на маленьком столике, свет, мягко падавший на плечи моей матери, увидел ее спину, чуть ссутулившуюся над клавишами, услышал ее ласковый голос; я знал, что сейчас мне придется в свою очередь сесть на круглый табурет и разучивать гаммы, пока не вернется с работы отец. Почему же я не смог после тех первых, счастливых лет моей жизни остаться веселым и открытым, как мои родители? Мой странный жребий отделил меня от всех, отгородил стеной, я возвысил себя над другими своей ученостью и поставил себя над ними судьей; а между тем мне бы больше простилось, живи я как те, от кого я всю жизнь бежал. Я стал пастором – тем, кого боятся, черным человеком из легенд, палачом из кошмаров. Перед глазами у меня снова встало лицо матери, и я устыдился того, что слишком долго отвергал пример ее доброты. Наконец, я вспомнил о любви Женевьевы и еще яснее понял, что она вернула мне жизнь, которая без нее, наверно, навсегда осталась бы добровольным заточением. Музыка смолкла. Я услышал, как Женевьева встала, подошла к окну, открыла его, снова закрыла. Скрипнула дверь: она прошла из кабинета в библиотеку. А я все стоял в полумраке, слушая свою память, слушая в себе печальные и нежные аккорды растаявшей музыки, вновь и вновь повторяя себе, почему должен был покинуть тюрьму своего одиночества, хотя прежде я сам посмеялся бы в душе над этими доводами или проигнорировал бы их. Но то мрачное время прошло безвозвратно, говорил я себе (и страстно желал этого), прошло пустое время возмездия; и Женевьева вернулась. . . Я бросился вверх по лестнице. Она обернула ко мне спокойное, сияющее счастьем лицо:

– Жан, прости меня, пожалуйста, – сказала она. – Я вела себя глупо.

Я не отвечал, жадно всматриваясь в ее нежное лицо: шрам на лбу казался против света черным.

– Жан, – повторила она, – прости меня. Я вчера потеряла голову. Я не знала, как сказать тебе, испугалась, представила, как взбесится отец. . .

Девушка помедлила; глаза ее блестели.

– Жан, – произнесла она. – Я беременна.

Она подошла ко мне.

Слова, которые мы сказал друг другу после этого, были сбивчивы и бессвязны. Женевьева рассказала мне все. Она была беременна уже . два месяца. В смятении, которому, как я смог потом убедиться, отнюдь не страх и не тревога были причиной, она добавила, что не собирается ничего делать, чтобы избавиться от ребенка, что все способы, о которых говорили ей подруги в пансионе, внушали ей отвращение; к тому же, заверила она меня, она имеет достаточно влияния на отца и добьется, чтобы он отослал ее куда-нибудь подальше от поселка, где она будет спокойно ожидать разрешения, а потом мы поженимся, я попрошусь в другой приход, мы будем вместе. . . Она пришла сегодня, чтобы сказать мне это, не сомневаясь, что я во всем с нею соглашусь.

Увы, она была права! Я даже не подумал о том, что может грозить пастору, обольстившему свою несовершеннолетнюю ученицу (да еще единственную дочь богатого и могущественного человека); нет, обрушившееся, как снег на голову, известие наполнило меня ликованием, и я видел все причины радоваться и рисовать себе безоблачное будущее. Я хотел верить в снисходительность Н., в счастливые слезы Женевьевы, в ее воздушные замки. Я уже воображал себя пастором в новой общине, где паства примет меня; прихожане пойдут за мной, растроганные моей историей. . . Я видел нашу новую жизнь, все, что предстояло нам сделать. И – рука моя дрожит, когда я пишу эти слова сегодня – я чувствовал себя возвеличенным и облаканным, как человек, свершивший дело, угодное ближним, а может быть – почему бы нет? – и всему приходу.

Как же зыбка почва самообмана. Ступите туда одной ногой – и вам уже не выбраться. Заблуждения нагромождаются друг на друга, нанизываются цепью, сливаются, создавая иллюзорный мир, кажущийся более реальным, чем тот, от которого вы бежали. Вы пленник хаоса, и он уже не отпустит вас; я часто вспоминал, глядя на заблуждающегося человека, картину Гойи: пес в зыбучих песках. Жалкая точка – голова, а вокруг только песок, зловещая бескрайняя пустыня, и над ней, как венец всего – смерть.

Но мы фантазировали, мы витали в облаках. Женевьева ушла от меня поздно, насколько позволяли это обычаи в Бюзаре, и обещала прийти завтра утром.

Наутро мне позвонил Н., голос его звучал бесстрастно. В Бюзаре произошла небольшая неприятность. Женевьеве сделалось дурно, и она упала на лестнице. Она во всем призналась. Н. уже позвонил в Синодальный совет и потребовал для меня самого сурового наказания.

IX

О борьбе я даже не помышлял. Удар сокрушил меня; я впал в уныние и знал, что отовсюду мне грозят самые страшные невзгоды и напасти. Что с Женевьевой? Я не мог ответить на этот вопрос, и мысль о ее положении не давала мне покоя. Не знал я и того, как мне вести себя с прихожанами. Успел ли уже Н. сообщить кому-нибудь в поселке? Посмею ли я теперь выйти из дому? Было 23 декабря. На Рождество в храме соберется много народу. При мысли, что я должен буду предстать перед всеми этими людьми, неведомый доселе ужас леденил меня до костей. Никакой весточки от Женевьевы не было, как и новых угроз со стороны Н. Было бы, разумеется, глупо предполагать, будто он оставил меня в покое: он хорошо знал свое дело и понимал, что страшнее самой лютой пытки для меня терзаться неопределенностью и страхом.

Так прошло два дня – два бесконечных дня в тревоге, две ночи в кошмарных снах. Рождественским утром, когда настало время идти в храм, меня тошнило. Колокола звонили с рассвета; довольно рано к ним присоединился хор катехуменов на улице и веселый гомон праздничных дней. Я с трудом поднялся на кафедру; голова у меня пошла кругом при виде множества лиц, освещенных пламенем свечей, – фигуры, ряды скамей и ниши тонули в сумраке. Была ли Женевьева в этой толпе? Я плохо различал лица, но, когда все садились, увидел Н. на первой скамье в центральном ряду: он смотрел на меня, жесткий рот кривился в презрительной ухмылке. О злоба людская, воскликнул я про себя и тотчас устыдился своей мысли: о моей собственной низости напомнила мне сцена поклонения волхвов, когда мой взгляд, оторвавшись от жестокого лица Н., упал на ясли у подножия ели. Стыд волной захлестнул меня. Весь дрожа, я схватился за свои листки. Ибо злодей, говорил я себе, читая первые фразы проповеди, нечестивец, исчадие дьявола – это тот, кто обманул доверие своей паствы, опозорил свой сан и вверг чистое дитя в пучину страдания. . . В эту минуту я отдал бы все на свете, лишь бы принять заслуженную кару и искупить свою вину самыми строгими епитимьями. На мгновение, когда одна мелодия органа плавно сменилась другой, мне захотелось признаться во всем сейчас же, открыть толпе всю мерзость моего поступка и броситься к ее ногам, моля о прощении. Но с беспощадной ясностью я понял, что не вправе этого сделать, что слишком легко и подло было бы спасти себя, смутив души всех этих людей в светлый день праздника. Потом, когда мальчик читал из Евангелия о Вифлееме, в голове у меня помутилось от горя и усталости, и лица передо мной превратились в блестящие белые черепа, я увидел отвратительное зрелище: толпу ухмыляющихся мертвецов – они явились сюда по приказу Господа свершить надо мной суд. Да, так оно и было. Я стоял, как паяц, перед улюлюкающей толпой. Каждый знал о моей гнусности. Навсегда я останусь пленником этого оссуария и всегда буду чувствовать кожей леденящее дыхание, смешки, эту холодную слизь, в которой скопилось столько ненависти.

К концу моей проповеди я был на грани безумия, ноги подкашивались, неотвязная боль стучала в висках, все плыло перед глазами. Пение, снова орган. . . Колокола зазвонили вовсю, толпа зашевелилась, медленно потекла к выходу; в открытую дверь храма врывалось солнце, свежий воздух, уличный шум. Группа прихожан окружила меня и долго не отпускала; мой блуждающий взгляд и выступившие на лбу капли пота приписали, должно быть, воодушевлению: я видел вокруг себя улыбающиеся лица, люди благодарили меня, тепло жали руку. Я отклонил несколько приглашений к обеду. Наконец я остался один. Поручив неф заботам привратника и ребяташек, которые уже гасили свечи и убирали ветки, я тоже направился к

дверям; сердце мое бешено колотилось: быть может, удастся увидеть Женевьеву, даже поговорить с ней... Люди стояли группками, болтали, весело поздравляли друг друга. Н. исчез, и Женевьевы нигде не было видно. Холодный, чистый воздух приободрил меня: так палачи дают жертве глоток воды между двумя пытками. Снег блестел под лучами солнца, на небе – ни облачка... И вправду, день выдался прекрасный. Помню, что, перед тем как упасть, я поднял голову, привлеченный пролетающим самолетом, искрящимся в ярком свете, – тут все заколыхалось (видимо, усталость моя достигла предела), и я осел на землю. Очнувшись, я увидел склонившихся надо мной двух прихожан, которые пытались поднять меня. Кто-то уже нес мне коньяк из соседнего кафе, кто-то отряхивал мое платье, кто-то предлагал позвать врача... Я повернулся к ошеломленной группке спиной, кинулся прочь и заперся в доме.

X

Письмо из Синодального совета пришло на следующий день. После обморока накануне на меня снизошло какое-то спокойствие; весь остаток дня я проспал под действием снотворного и усталости. Когда я вскрывал конверт с гербовой печатью, руки у меня не дрожали, но с первых же строк мне стало ясно, что положение мое еще хуже, чем я ожидал.

Совет получил жалобу Н. В спешном порядке были опрошены несколько влиятельных прихожан, которые не подтвердили его обвинений. Однако, учитывая видное положение подателя жалобы, а также чтобы пресечь слухи, было принято решение о расследовании в административном порядке; до вынесения заключения я отстранялся от должности.

Непререкаемый казенный тон послания, казалось бы, должен был сломить меня окончательно, однако он, напротив, подхлестнул мое самолюбие. Я воспрял, я решил биться до конца. Я вспоминал Женевьеву, все эти месяцы, связавшие нас, наши прогулки, наши планы. Да кто они такие, эти господа, чтобы копаться своими грязными руками в нашей жизни, во имя какого правосудия смеют они марать нашу любовь и веру? Н. не должен победить, проклятый Н., единственный виновник всего. Я не сдамся. Я поеду в Л., пойду в Совет, я сумею их убедить, расскажу о распутстве Н., обо всех его гнусностях. Что до тяготевшего надо мной обвинения – я готов признать его обоснованность. Но пусть успокоятся, пусть выслушают меня: ни огласки, ни скандала не будет. Я ведь собирался жениться на Женевьеве, верно? И предложить свои услуги другому приходу. Не так давно я слышал, что государство испытывает серьезные трудности в этом плане: число пасторов с каждым годом убывает. Эта мысль прибавила мне смелости. Стало быть, я нужен. Я тешил себя надеждами: я не впал в немилость, я с честью выйду из положения и обрету покой и счастье с Женевьевой. Почему мне не дают увидеться с ней? Что за стену воздвигли между нами? Она носит нашего ребенка, она моя, моя *жена*, и никто не может помешать мне с ней поговорить. Еще долго я перебирал в уме свои доводы и права. Это помогло мне освободиться от страхов, и я корил себя за то, что пал духом перед первой же угрозой; конечно, думал я, меня сломила скорее усталость, чем разговор с Н., однако я решил, что впредь не отступлю перед ним и буду тверд.

Прежде всего я должен был увидеть Женевьеву. Я позвонил в Бюзар. Экономка ответила, что Женевьевы нет. Я спросил, дома ли Н., – его тоже не было. Я просил, требовал, назвал себя, сослался на дело чрезвычайной важности, касающееся прихода. Моя настойчивость подействовала, но от того, что я услышал, меня бросило в дрожь: Н. повез дочь в клинику в Л., где мадемуазель будет сделана операция. Они вернутся через неделю. Нет, связаться с ними невозможно. . .

Ярость и возмущение душили меня. Моего самообладания еще хватило ровно настолько, чтобы выпытать название клиники у бедной женщины, которая не могла взять в толк, с какой стати эта спешка. Меня было уже не остановить. Ничто не удерживало меня в поселке. Узнав адрес, я быстро собрал чемодан, запер дом, помчался на станцию и вскочил в первый поезд на Л.

Странная это была поездка. Поезд идет до Л. два часа; все это время мною овладевали то самые мрачные предчувствия, то лихорадочное возбуждение, и я весь дрожал от нетерпения и гнева. Пытаясь отвлечься, я сосредоточил свое внимание на пейзажах, пронесившихся за окном, но угрюмые заснеженные поля, прочерченные темными линиями изгородей, черные леса, дороги, безлюдные деревни навевали печаль, и из поезда я вышел совсем подавленный. Я взял такси и через пять минут был в приемном покое клиники.

Представившись дежурной, я спросил ее, в какой палате находится м-ль Н. Женщина слегка побледнела. Она смотрела на меня с каким-то скорбным выражением, будто не зная, на что решиться, наконец предложила сесть: «Доктор сейчас придет. Он объяснит вам. . . » И быстро вышла, не кивнув мне на прощание. Я даже не успел задуматься над вопросами, лавиной обрушившимися на меня. Почти срезу же пришел врач. Он сел напротив меня, качая головой. «Мне сказали, сударь, что вы пастор. Мадемуазель Н. была вашей прихожанкой? В таком случае вам я могу это сказать. Очень плохие новости. Случилось несчастье. . . Мадемуазель Н. умерла сегодня утром»,

Он умолк, поднял голову и, наверное, прочел на моем лице всю мою боль, потому что довольно долго сидел, не говоря больше ни слова. Потом он рассказал мне, что девушке стало плохо в машине Н. У нее было сильное кровотечение. Когда ее привезли сюда, она так ослабла, что операцию сделали только вечером, после того, как силы ее немного восстановились. Операция прошла благополучно, и все считали, что девушка вне опасности. Ночь она провела спокойно. Но под утро внезапно началось новое обильное кровотечение, и на рассвете ее не стало.

Я спросил врача, могу ли я увидеть тело или хотя бы палату. Просьба, похоже, удивила его, однако он снял с панели на стене ключ с номерком и протянул мне. Тело увезли в подвал, после того как была констатирована смерть, но в палате еще не убрали, я могу подняться.

Мы прошли в белый коридор; врач простился со мной, и по лестнице я поднялся один. На втором этаже повсюду стояли цветы; прошла сестра с новорожденным на руках, из-за дверей раздавался плач других младенцев, которых, должно быть, перепеленывали и обихаживали. Нужную мне палату я нашел на третьем. Там царил образцовый порядок, если не считать кровати, где валялись бинты и скомканные полотенца в пятнах крови. На столе стоял чемодан – я открыл его. Немного одежды, плащ, свитер, чулки. Я погладил веселого плюшевого львенка, спутника во всех путешествиях, которого сунули в чемодан в спешке сборов. . . Дотронулся до полотенца на кровати: кровь растеклась на нем неровными бурыми пятнами. Женевьева умерла. Мир вновь сомкнулся. Снова мне идти в кромешной тьме, теряя рассудок, ползать и пресмыкаться на развалинах моей жизни. Все вернулось на круги своя. Мои чудовища, страхи, кошмары – в эту самую минуту я принял их, я благословил их за то, что они так быстро нашли меня и не оставят отныне, куда бы я ни пошел. Так будет верно и справедливо. Я буду вновь и вновь возвращаться в эту палату, к этому чемодану, к этой пустой кровати, бродить по подвалу этого дома, не смея открыть одну дверь. Но я буду слишком ясно видеть в этой тьме, годы и годы смогу я всматриваться в открытый гроб, окоченевшее тело, лучезарные волосы на холодных плечах. Долгие ночи напролет будет со мной это тело, земля, доски разбухнут от дождя, вода подточит дерево. . . Я рванул на себя дверь и кинулся прочь, охваченный ужасом, даже не подумав вернуть дежурной ключ. Темнело. Я шел медленно. Я не привык к здешнему теплему воздуху и задышался от ходьбы. Только на тихой улице сотней метров дальше я заметил, что все еще судорожно сжимаю ключ в правой руке. Я бросил его в сточную канаву и тут увидел на пороге дома двух старух – они вытягивали шеи, глядя в мою сторону. Я снова обратился в бегство и вскоре затерялся в вокзальной толпе.

Теперь я обращаюсь к Тебе, Бог, победитель. Я знаю, что Тебе ведомо обо мне все: ведь Ты один властитель моих мыслей. И все же я хочу написать еще несколько слов, раз Ты не позволил мне служить Тебе. Ибо я хотел служить Тебе, Господи Боже, я принадлежал Тебе душой и телом, но Ты сломил меня и отринул,

Сказать по правде, Ты с самого начала подавил меня; я был устрaшен Твоею силой, Тво-

им гневом, я не смел и шагу ступить. Твой грозный голос перекрывал все иные голоса; я чувствовал себя тем слабее и ничтожнее, чем глубже узнавал силу и мощь Твою. За Тебя я страдал, видя вокруг срам и распутство. О Тебе забыли – это унижало меня. Потом Ты же открыл и омыл мою душу, Ты даровал мне Женевьеву, и я имел слабость поверить, что спасен. Я не знал тогда, как Ты ревнив, Тебе ведомо и это, и я верил, что, исцелившись, следую воле Твоей. То было безумие – помышлять о ком-то кроме Тебя единого. И Ты отнял у меня Женевьеву, ибо Ты не терпишь дележа.

Я знаю, я не вправе предъявлять Тебе счет. Я не жалуясь. Я не питаю к Тебе ненависти. Я не спорю с волей Твоей, я не столь дерзок, чтобы думать, будто смогу переродиться, начать жизнь заново, будь то даже с Твоей помощью. Я устал, я сломлен. Но мир все еще давит на мои чувства своей сладкой тяжестью, тот самый мир, которым Ты не захотел дать мне наслаждаться и отсек меня от него во второй раз. Слушай же: каждую ночь, каждую Твою ночь, ибо Ты властелин небес и земли, я вновь обретаю Женевьеву во плоти моей, я сжимаю ее нежные руки, мои губы впитывают ее дыхание. . . И я сам знаю, что это лишь сон безумца, и я просыпаюсь, просыпаюсь и вспоминаю, что я убил ее, потому что Ты есть и потому что Ты сделал меня преступником.

Я научился любить Тебя, познавая этот мир, потом я возносил хвалу дарованному Тобой покою. Как спокойно под взглядом Твоим. Я познал Твою справедливость и Твою правоту. Да, Ты справедлив. Но Твоя справедливость уничтожает меня, и мне не понять этой кары. Приветствую же Тебя, Бог, кормчий жизни и смерти. Скоро я предстану перед Тобой. Так Ты повелел, я внял Тебе, я не раздумываю. Я иду! Иду! Я готов заплатить.